
А·НЕМИРОВСКИЙ
БЕЛЫЕ,
ГОЛУБЫЕ
И СОБАКА
НИКС
Д


РИМ
ОСТИЯ
АППИЕВА ДОРОГА
ВЕЗУВИЙ
СПАРТАК
ПОМПЕИ
О. КАПРИ
СИРАКУЗЫ
АРХИМЕД


ОВИДИЙ
ФРАКИЯ
ГИАНА
ФИВЫ
АФИНЫ
СОКРАТ
СПАРТА



ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

А. Немировский

# БЕЛЫЕ, ГОЛУБЫЕ И СОБАКА НИКС

ИСТОРИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ






Р 2
Н 50

*Каждый из вас, кто прочтет эту книгу, перенесется в далекий и прекрасный мир античной древности.*

*В мир сильных, отважных людей, в мир, полный противоречий и жестокой борьбы.*

*Вместе с героями рассказа «Гладиаторы» вы переживете извержение Везувия, радость освобождения, горечь потерь.*

*С отважной героиней рассказа «Гидна» под бушующими волнами вы будете срезать якоря вражеских кораблей, брошенных против Эллады царем Персии — Ксерксом.*

*Вы побываете на площадях Афин и Рима, в сверкающих мраморных храмах и мрачных каменоломнях, где день и ночь свистели бичи надсмотрщиков.*

*Вы узнаете удивительную историю о мальчике, оседлавшем дельфина, и множество других интересных историй, почерпнутых из документов и преображенных фантазией автора.*



## ГИДНА

Держась обеими руками за борт лодки, Скиллий отдыхал. Волны принимали на себя тяжесть тела; гудело в ушах, словно над головой у него вился рой невидимых пчел, а в глазах возникали и сливались разноцветные круги. Они напомнили ему радугу, вспыхнувшую вчера в утреннем небе. Как и все люди моря, Скиллий знал приметы и верил им. Опущенные вниз края разноцветной дуги указывают направление, откуда должен подуть ветер. Но та радуга, кажется, его обманула. На прибрежных платанах не шелохнется ни один листок. В небе ни единого облачка. Все застыло в какой-то угрюмой неподвижности.

— Пора, Скиллий! — Из лодки высунулась взлохмаченная голова с большими, оттопыренными ушами, багровым носом и толстыми, как у всех добродушных людей, губами.— Скоро полдень, а посмотри, наш мешок еще не полон!

— Ты смеешься, Спор,— сказал Скиллий, подтянув голову к краю лодки.— Я уже спускался дважды.

— Вода успела стечь. А если ты не опустишься еще раз, мы не заработаем и на амфору вина.

Спор, так звали раба Скиллия, конечно, преувеличивал. Если продать губки, которые сегодня добыл Скиллий, можно купить не амфору, а целый пифос вина, но ведь, кроме вина, людям нужны и хлеб, и соль, и масло, и шерсть, и лен. А тому, кто добывает губки, не обойтись без серы, придающей им белизну. Да мало ли еще что может понадобиться человеку, у которого молодая дочь? Раньше Спор тоже опускался под воду, и Скиллию было легче. Но случилось несчастье. Какая-то рыба схватила Спора за пятку. Нога раздулась и посинела. Пришлось отрезать половину ступни, чтобы спасти Спору жизнь. Спор остался жить, но теперь он не пловец и не ныряльщик. Да и не ходок. Губки продавать его не пошлешь. Осталось ему только дела, что сидеть в лодке, держать канат и вытаскивать Скиллия из воды. Но руки у него удивительно сильные, и ловок он, как обезьяна.

— Давай,— недовольно проворчал Скиллий.

Спор быстро перекинул за борт веревку с тяжелым плоским камнем на конце и подал ныряльщику кривой нож. Его деревянный черенок оканчивался медным крючком, чтобы при случае можно было прикрепить нож к поясу.

Скиллий зажал нож между большим и указательным пальцами левой руки, остальными по-прежнему держась за край лодки.

— Масла! — приказал он, подтянувшись на локтях.

Спор поднес к его губам амфору. Скиллий ощутил хорошо знакомый ему горьковатый привкус оливкового масла. Без масла во рту ни один ныряльщик Скиóна не решился бы спуститься на дно. Почему-то считалось, что оно предохраняет не только рот, но и нос и уши от быстрого перехода к глубине.

Теперь Скиллий уже не мог говорить. Он только сделал привычный знак головой, и Спор тотчас же отпустил веревку. Тяжелый груз потянул канат на дно и вместе с ним Скиллия. Перед глазами ныряльщика замелькала зеленоватая масса воды, зарябили светлые стайки рыбок. В этом месте было не глубже двадцати

локтей, и через несколько мгновений ноги Скиллия коснулись дна.

Скиллий выплюнул масло и наклонился. Если кто-нибудь мог видеть сквозь толщу воды, он принял бы Скиллия за сборщика цветов. Губки, нежные, светло-желтые, покачивались перед его глазами, как фантастические, сказочные растения. Скиллий переполз на коленях от одной губки к другой, срезая их быстрыми и точными ударами. Рядом проплывали рыбы, тихо шевеля плавниками. Скиллий не начинал работы, не осмотревшись. Кто знает?..

Может быть, поблизости притаился спрут или какая-нибудь хищная рыба. Но эти рыбешки плывут так мирно и беззаботно, что ему нечего бояться. Будь близко опасность, они бы давно скрылись.

Перед тем как класть губки в кожаный мешочек, привязанный к поясу, Скиллий их слегка стряхивал. В порах губок прячутся маленькие рачки, рыбешки. Если не вытрясти их, они погибнут. «Бегите, малыши, бегите!» — думал Скиллий, стряхивая губку.

Но в легких уже кончался воздух. Надо подниматься. Скиллий дернул веревку, и сразу же она поползла вверх. Ныряльщик схватил обеими руками камень и отвязал его. Потом он дернул два раза за веревку и пропустил ее между ног.

Подъем был труднее, чем спуск. Наверное, потому, что не хватало воздуха. Наконец голова пробила водную толщу, и Скиллий быстро, жадно задышал. Спор подхватил Скиллия за плечи и одним рывком втащил в лодку.

Мучительно ныли ноги. Боль сжимала голову, словно на нее давил каменный столб. «Надо было подниматься медленнее, — подумал Скиллий, — но тогда осталось бы меньше времени на работу». Потом мысли его смешались, и он задремал.

Когда Скиллий проснулся, лодка покачивалась в маленькой бухточке на привязи. Солнце стояло в зените и жарило, как гончарная печь. Спор, разложив на камнях добычу, считал вслух:

— Сорок пять, сорок шесть, сорок... тьфу... сорок... Ну как тебя?..

— Сорок семь, — подсказал с улыбкой Скиллий.

Он знал, что Спор не тверд в счете, и это его забав-

ляло. Однажды, когда Спор еще не хромал, он отнес на агору[1] в Потидею восемьдесят губок, а принес денег за восемнадцать. Хорошо, попался честный торговец и в следующий торговый день вернул деньги.

— Слушай, Скиллий,— протянул Спор, подсаживаясь ближе к лодке.— Сколько за все эти годы ты добыл губок?

— Не знаю...— рассеянно ответил Скиллий.

— А мне кажется, на небе меньше звезд, чем собрали губок ты и другие ныряльщики из Скиона. Куда они делись, все эти губки? Есть у твоей Гидны одна губка. Она сушит ею голову после мытья. Пять или шесть лет она обходится одной губкой. Наверно, дочери богачей один раз высушат и бросят. А ты для них спускайся на дно, считай губки. Тьфу!

Спор плюнул с досады и сердито швырнул пустой кожаный мешок в лодку.

Скиллий расхохотался. Смех перешел в надсадный, хриплый кашель. Ныряльщик наклонился, положив обе ладони на грудь.

— Ну и чудак ты, Спор!—сказал Скиллий откашлявшись.— Разве губки нужны только для сушки волос? А что подкладывают гоплиты[2] под шлемы, чтобы они не натирали, а при случае и смягчали силу удара? Чем в богатых домах чистят обувь? Чем моют миски и горшки? Чем вытирают пыль с дорогих сундуков и столов? Всё нашими губками. Однажды, когда была еще жива моя Кинфия, я побывал на острове Кос у известного асклепиада. Что, ты думаешь, он прописал больной? Сжечь губку, смешать пепел с молоком и пить три раза в день[3]. Этим же пеплом губок и раны посыпают, чтобы не гноились и быстрее заживали. А если у кого сердце заболит, берут ту же губку, намочат ее в неразведенном вине и прикладывают на грудь.

Спор вытаращил глаза от удивления.

---

[1] Агóра — центральная площадь в греческих городах, служившая местом собраний и рынком. Афинянин проводил на агоре бóльшую часть своего времени.

[2] Гоплúт — тяжеловооруженный воин.

[3] В губках очень высокое содержание йода; йод же является ценнейшим лекарством. Лечебные свойства губок были известны греческим врачам, считавшим своим покровителем бога Асклéпия (отсюда — асклепиад).

— Скажи-ка...— протянул он.— Да она целебная... А я ее ни во что ставил. Трава травой...

— И не трава это вовсе, а морское животное вроде ежа или звезды, только попроще. Это тот асклепиад сказал. Ему все известно, что́ на земле и под водою.

— Отец! Где ты? — послышался звонкий голос.

— Гидна! — сказал Спор.— Что-то она сегодня рано вернулась? А ведь ей надо было еще серы купить.

При виде дочери глаза Скиллия засветились, словно солнечный луч, отразившись в зеленоватой воде, скользнул по его лицу. «Как удивительно Гидна похожа на свою мать! — думал Скиллий.— Тот же поворот головы, и матовая кожа, и смех, от которого ликует сердце. Девушка кажется угловатой и неловкой. Но как она плавает! Как гребет! Шестнадцать лет назад Кинфии было столько же лет, сколько теперь Гидне. Но она была уже замужем. И если бы не болезнь, уведшая ее из жизни, как бы она радовалась вместе со мной нашей дочери!»

Голос дочери показался Скиллию взволнованным. Он с тревогой взглянул ей в лицо:

— Что случилось, Гидна? Почему ты так бледна?

Гидна тряхнула головой, и волосы черной волной упали на ее загорелые плечи.

— Я вовсе не бледна, отец. Но в Потидее никто не покупает губки. По дороге, за городскими воротами, движутся толпы варваров. В длинных пестрых одеждах. С луками и копьями. И всадники! И колесницы! И какие-то огромные странные животные с двумя горбами на спине... Идут. И нет им конца...

— Началось! — сказал Скиллий, закрывая лицо руками.— Бедная Эллада! Что тебя ждет?..

* * *

На следующее утро Скиллий и Гидна проснулись от голоса Спора.

— Ай-ай, ну и беда!

— Что случилось, Спор? — спросил Скиллий встревоженно.

— Беда! Беда! Что делается на море! Ай-ай-ай...

Скиллий вскочил и, накинув хитон, подбежал к Спору:

— Не каркай! Скажи толком, что там, на море?

— Корабли. Столько кораблей! Я начал считать по пальцам. У меня не хватило пальцев на руках и ногах. Тогда я стал откладывать камешки, и выросла целая куча камней...

Не дождавшись конца рассказа, Скиллий выскочил наружу. И остолбенел от изумления. Весь залив до края моря был занят кораблями, пентерами, триерами и юркими миопаронами. Палубы кишели людьми. Поднимались и опускались весла, вспенивая поверхность моря. Паруса безжизненно повисли. Корабли шли на запад, к Потидее, огибая полуостров, на котором стояли Скион, Менде и другие города.

— Ай-ай, господин...— причитал выбежавший из хижины Спор.— Они порвут сети. Они разгонят рыбу!

Вчера вечером Спор опустил в море сеть близ мыса, который огибали корабли. «Надо снять сеть,— подумал Скиллий,— а то останемся без улова. Теперь война. Хлеб и масло будут дороги».

— Спор,— приказал Скиллий,— скажи Гидне, чтобы никуда не выходила из дому.

Но в это мгновение откуда-то издалека донеслись звуки рога. Сердце Скиллия тревожно забилось. Нет, теперь он должен забыть о своих сетях. Его зовут на агору.

Это была ровная, окруженная невысокими домами площадка у самого моря. Над агорой всегда стоял густой, неистребимый запах смолы и рыбы. Часто все пространство агоры занимали сети на высоких кольях. Рыбаки ползали по агоре на четвереньках и с той неторопливостью, которой вообще отличались скионцы, снимали сети и вешали их для просушки. А если на агоре происходили собрания, то ораторы чаще всего говорили о наживке, якорях, тунцах, меч-рыбе, морских раках, губках. Скион был городом рыбаков и ловцов губок. Расположенный в скалах каменистого полуострова, он жил своей особой жизнью, не претендуя ни на известность, ни на власть над другими городами.

Нападение персов не было неожиданностью для скионцев. Еще два года назад варвары соорудили мосты через Геллеспонт и реку Стримон. Тысячи рабов были согнаны на мыс Актэ, чтобы построить канал для пер-

сидского флота. Царь Ксеркс не скрывал своих приготовлений к войне. И все же только теперь, когда колоссальный флот прошел мимо города, двигаясь к горе Пелион, скионцы впервые поняли всю серьезность грозящей им опасности.

На возвышении для ораторов стоял человек с жезлом, обвитым зеленью. Его окружало несколько десятков мужчин в поношенных войлочных шляпах. Скиллий сразу понял, что в город прибыл посол, чтобы обратиться к гражданам. Раньше послы эллинов посещали Скион только для объявления священного мира перед началом Олимпийских игр. Но теперь не стало в Элладе ни одного города, который был бы слишком мал и незначителен перед лицом общей беды.

Посол поднял жезл над головой и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Народ Афин просит вас, скионцы, принять участие в борьбе за свободу эллинов. Мы направили против варваров все свои триеры. Коринфяне послали сорок триер. Мегаряне — двадцать, халкидяне — столько же. Эретреяне послали семь триер. Всего у нас двести семьдесят триер. Ими командует доблестный спартанец Эврибиáд, сын Эвриклúда. Готовы ли вы помочь родине в эти грозные дни?

Наступило неловкое молчание. Первым его нарушил Скиллий.

— Скионцы! — сказал он.— Чем мы хуже других? У нашего города есть одна триера. Отправим ее эллинам. И сам я готов быть гребцом или матросом, если не найдется никого моложе и крепче меня.

Рыбаки переминались с ноги на ногу, опустив глаза, чтобы не смотреть на Скиллия. Из толпы вышел худой темнолицый человек лет сорока пяти. Он неторопливо поднялся на возвышение, образованное несколькими положенными друг на друга каменными плитами. Это был Креонт — единственный местный богач, сколотивший состояние перепродажей рыбы и губок. Креонт проводил бóльшую часть года вне Скиона и поэтому считался человеком сведущим. К его мнению прислушивались, тем более что чуть не половина скионцев зависела от цен на рыбу и губки, назначаемых Креонтом.

— Все мы знаем и уважаем Скиллия как превосход-

ного пловца и ныряльщика,— сказал Креонт.— Но под водою многого не увидишь. Мне же приходится разъезжать, встречаться с разными людьми: и эллинами и варварами. Посол Афин скрыл от вас, скионцы, что города и племена сопредельной Фессáлии покорились персам, что фиванцы, аргоссцы, ахейцы отказались воевать против Ксеркса. Царь Ксеркс вóюет не против всех эллинов, а против Афин и Спáрты, убивших послов. А знаете ли вы, что ответил в прошлом году афинянам дельфийский оракул, когда они его вопросили о будущем:

Что вы, несчастные, ждете? Бегите до края Вселенной,
Дом и вершины округлого града покинув навеки.
Не уцелеет ничто: голова сокрушится и тело,
Руки и ноги низвергнуты будут в дыму и пожарах.
Видите, боги стоят, истекая от ужаса пóтом,
Черная кровь по вершинам их храмов струится, вещая
Злую судьбу. Удалитесь, над бедами дух возвышая.

Недавно афиняне вновь обратились к оракулу. И он им ответил: «Молитесь ветрам». Разве не ясно, что имел в виду оракул? Поднимите паруса и положитесь на ветер. Плывите, куда он вас погонит. Скиллий предлагает отдать эллинам нашу единственную триеру. Сейчас у эллинов двести семьдесят триер. С нашей будет двести семьдесят одна триера. А у персов тысяча кораблей...

Граждане молча кивали головой. Пророчество дельфийского оракула произвело на них сильное впечатление. Если у афинян осталась лишь одна надежда на милость ветров, то чем им можно помочь? Не лучше ли покориться персам?

И только один Скиллий стоял на своем.

— Реки образуются от ручейков, толстые канаты — из волокон, могущественный флот — из кораблей! — кричал Скиллий.— Ксеркс обманывает, будто ведет войну против одних афинян и спартанцев. Он победит их и возьмется за нас. Не лучше ли объединить свои силы, пока мы еще не стали рабами.

Скиллия никто не поддержал. Послу был дан ответ, что Скион не может ничем помочь народу афинян и другим эллинам.

Ушел по дороге к Менде посол. Брошенный им венок

лежал у каменных плит жалкий, бесполезный. Скионцы не вняли призыву Скиллия. Слишком велик был страх перед мощью персидского царя. Кто-то уверял, что у Ксеркса миллион воинов. А какой у него флот! Никогда эллинское море не держало на своих волнах столько кораблей. Свои суда прислали царю финикийцы и египтяне. Даже города эллинов на восточном берегу Эгейского моря, покоряясь силе, направили персам свои триеры. Двенадцать лет назад буря разбила персидский флот о скалы мыса Актэ. Но в это время года бури редки. Да и самые опасные места, где течение гонит корабли на камни, пройдены персидским флотом.

Скиллий угрюмо смотрел на дома, казавшиеся в заходящих лучах солнца призрачными, нереальными, на висящее над кровлями и колоннами портиков серовато-зеленое небо, и его внезапно охватило ощущение, будто он стоит на дне моря, среди развалин скрытого под водою города. В ногах у него тяжелый груз; сто́ит его оттолкнуть — и Скиллий взлетит вверх, как птица.

И вдруг его обожгло новое чувство — страх. Гидна! Он приказал, чтобы она никуда не выходила из хижины. Но ведь персы, обошедшие Потидею, придут и в Скион не сегодня, так завтра. Разве их удержат запоры его хижины? И что для них судьба какой-то девушки, дочери бедняка, если они помышляют сделать своими рабами целые народы, если они хотят заковать цепями море?! «Скорее! Скорее! Пока не поздно».

Скиллий бежал тропинкой, протоптанной в желтой траве. Высохшие стебли хлестали его по ногам. Больная грудь тяжело поднималась и опускалась, с хрипом выталкивая воздух. Вот и черепичная крыша одинокого домика. Освещенная косыми лучами солнца, она пламенела, словно облитая кровью.

* * *

Девушка сидела у моря, перебирая гладкие камешки. Волны накатывались на берег с каким-то глухим, угрожающим шумом, повторявшим и усиливавшим скрытое в глубине души чувство смутной тревоги и растерянности. О чем бы ни думала Гидна, память возвращала ее к дороге у Потидеи. Безобразные фигуры в пестрых

одеждах выплывали из облака пыли, поднятого тысячами ног и копыт. Топот, скрип колес, блеяние, ржание, крики — все это сливалось в чудовищный гомон, враждебный гармонии природы, ее скромной, ненавязчивой красоте. Как невыносимо сознавать себя беспомощным перед неотвратимо надвигающейся бедой! Варвары придут и сюда. Они раскинут свои шатры на этих скалах, меняющих окраску в лучах солнца. Они пустят на луг, где Гидна собирала цветы, уродливых, горбатых животных, и своими раздвоенными копытами эти чудовища затопчут все, что так дорого Гидне...

Гидна пыталась найти утешение в воспоминаниях. Но недавнее прошлое стало казаться чужим и далеким, словно пропасть легла между сегодняшним и вчерашним днем. Когда-то она могла часами лежать на берегу, слушать плеск волн и мечтать о счастье. Оно представлялось ей в виде паруса, покачивающегося на горизонте, как белая водяная лилия. Когда-нибудь, она в это верила, парус не растворится в голубизне неба, а развернется во всю ширь и опустится, как огромная птица, в маленькой бухточке у дома Гидны. На палубу выйдет тот, у которого еще нет имени, и протянет Гидне руки. Как были наивны ее помыслы и мечты!

Море шумело загадочно и грозно. Кажется, и оно было чем-то взволновано и оскорблено. Или это только казалось девушке, потерявшей покой?..

Багровый шар солнца наполовину ушел в море, окрасив рваные, искромсанные облака.

— Ты видишь, Спор,— торжествующе сказал Скиллий, показывая рукой на небо,— будет ветер. Радуга меня не обманула.

— Недоброе ты задумал,— проворчал Спор.— Все остаются дома. Ну пусть придут персы. Они тебя не съедят. И взять у нас нечего. Дырявая лодка да сеть.

— Молчи, Спор!

— Хоть Гидну оставь,— не унимался раб.— Ты сам говоришь, что будет ветер. Нас унесет в море или разобьет о скалы. Да и не девичье это дело.

— Не болтай! — приказал Скиллий.— Лучше принеси еще один нож. Наполни амфору водой, захвати лепешек. А Гидне скажи, чтобы собиралась.

На следующую ночь в маленькую бухточку у подно-

жия горы Пелион вошла лодка. Обитый медью нос звякнул о прибрежные камни. И тотчас же послышался другой, скрипящий звук, издаваемый днищем вытаскиваемой на берег лодки.

— Тише, Спор,— послышался шепот.— Тише! Здесь может быть стража.

Наступила тишина, не нарушаемая ни единым звуком. Все вокруг было черно — песок, усеянный валунами, небо и вода в заливе. Нет, это не вражеские часовые. Выпрыгнула рыба. Этот плеск еще более углубил тишину.

— Ждите меня здесь! — шепнул Скиллий.

Он скрылся в черных обрывах скал, очертания которых напоминали башни и крепостные стены. Из-под его ног посыпались мелкие камешки. Прошло немало времени, пока на вершине скалы, нависшей над берегом, показался человеческий силуэт.

Отсюда можно было видеть персидский флот, вернее, его ближайшие корабли. Остальные терялись во мраке. Корабли напоминали огромных морских чудовищ, высунувших из воды свои безобразные головы с широким ртом и оскаленными зубами. Крошечными красными точками светились кормовые фонари. Казалось, это злобные маленькие глазки, следящие за берегом с затаенной ненавистью.

Скиллий повернул голову и прислушался. Словно он слышал то, что не доступно никому другому. У каждого ветра свой, особенный голос. У Зефира — звонкий, как у соловья; у Нота — хриплый и сухой, как у путника, умирающего в пустыне от жажды; у Эврота — полный и глубокий. Когда дует Эврот, горы, сжавшие залив подковой, кажутся выше и яснее.

Суровое лицо Скиллия просияло. Он упал на колени и поднял обе руки вверх. Дельфийский оракул советовал молиться ветрам. И Скиллий молился ветру, называя его по имени — Геллеспонтец[1]. Он приходит при ясном небе и затишье. Он приносит бурю.

Скионцы в страхе перед врагом отказались послать эллинам свой единственный корабль. Но Скиллий ре-

---

[1] Геллеспóнтец — название ветра, дующего с Геллеспонта.

шил один вступить в бой с персидским флотом. Нет, не один. С ним дочь Гидна, и раб Спор, и Геллеспонтец.

Скиллий спустился со скалы. Он остановился у лодки, вытащенной на берег. Спор дал ему нож, как всегда, когда он спускался на дно моря за губками. Ныряльщик привязал нож к поясу.

— Дай другой! — приказал Скиллий.— Мы поплывем вместе.

Девушка сбросила хитон. Все мышцы на ее худом теле напряглись и подрагивали. Она взяла у Спора нож, поправила волосы, прикрытые белой шапочкой, и подошла к воде.

Тихо плеснули волны. Отец и дочь плыли рядом. Их не пугало черное как деготь море. А Геллеспонтец, набиравший силу, их радовал. До кораблей персов не больше стадии. Фонарь, горевший на ближайшем из них, был для пловцов маяком.

Вот руки Скиллия нетерпеливо нащупали якорный канат ближайшего корабля. Ныряльщик прошептал хвалу богам.

И почти сразу он ощутил плечо Гидны. Она проплыла почти все расстояние от берега до корабля под водою и вынырнула рядом с отцом. Как бы хотелось Скиллию, чтобы кто-нибудь из скионцев видел, как плавает его Гидна! Она ведь не уступит никому из лучших пловцов и ныряльщиков Скиона.

— Плыви ко второму канату! — крикнул Скиллий.

Он не боялся, что его услышат на варварском корабле.

Море ревело, как стадо разъяренных быков. Если бы теперь Скиллий и Гидна вздумали вернуться на берег, где ждал Спор, их разбило бы о камни.

Сквозь белые гребни волн Скиллий увидел, что голова Гидны показалась у кормы, где спускался другой якорный канат. Как они условились, он дал знак рукой и сразу же принялся за работу. Конечно, якорный канат не губка. С одного удара его не отрубишь. Да и волны швыряют тебя как щепку. Попробуй удержись! Вот Гидне легче: она с подветренной стороны. Ей не надо бороться с морем.

И в это мгновение Скиллий ощутил нечеловеческую боль. Он скорее понял, чем увидел, что произошло.

Гидна раньше обрезала свой канат, и корма корабля, развернувшись, со страшной силой столкнулась с соседним судном. Какой-то обломок упал ныряльщику на голову.

Теряя сознание, Скиллий крикнул дочери:

— Гидна! В моих руках нет больше сил. Смерть пришла за мной. Но ты жди рассвета. Помни, на тебя смотрят боги.

Может быть, Скиллий сказал бы еще что-нибудь, но грохочущий вал снова покрыл его с головою. А когда отхлынул этот вал, Гидна уже не видела отца. Волны бились о камни, и в их реве слышалось: «Помни, на тебя смотрят боги».

Мрак. На небе ни одной звезды. Но девушка не ощущала ни страха, ни усталости, ни холода. Она знала, что сквозь эту мглу на нее смотрят боги. Так сказал отец. Это были его последние, предсмертные слова.

Первый луч пробился сквозь тучи, и во мраке показались две тонкие розовые полосы. В памяти вспыхнули божественные строки Гомера:

Встала из мрака младая, с перстами пурпурными Эос.

Заря. Зорюшка... Гидна словно ощутила материнское прикосновение. Нет, она не одна в этом мире. Она не помнит матери. Она потеряла отца. Но на нее смотрят боги. И Эллада ждет ее подвига.

Под водой было спокойно. В мутно-зеленом сумраке промелькнул косяк рыб. На дне тихо покачивались губки, розовые и желтые. Всю жизнь отец срезал их ножом, как жнец срезает серпом колосья. Скиллий не был воином и никогда не держал в руках меча. Он жил бы и сейчас, если бы не эти корабли. Снизу они напоминали огромных зловещих чудовищ, застывших в грозной неподвижности и готовящихся к прыжку. Якорные канаты натянуты, как струны кифары. Они удерживают корабли. Но несколько взмахов ножа, и корабль швырнет в сторону. Теперь он держится на одном якоре. Еще несколько ударов, и его бросит на камни. Теперь подняться и набрать воздуха. И снова под воду...

Персидские моряки не могли понять, что происходит с их кораблями. Якоря и канаты были надежными, и буря не могла их сорвать. Почему же один корабль за

другим срывался с места и становился беспомощной игрушкой волн?

Страх обуял персов. Выбежав из трюмов, они вздевали руки к покрытому тучами небу. Маги решили, что успокоить разбушевавшееся море могут только кровавые жертвы. Выведя на палубу пленных, они рубили им головы и бросали в воду. Но море не хотело принимать жертв. Всё новые и новые корабли срывались с якорей и, подобно свинцовым ядрам, брошенным из пращи, со свистом летели на скалы. Они раскалывались, как орехи, наталкиваясь друг на друга, запутывались снастями, превращались в груды обломков. А море бушевало в своей ненасытной ярости, словно мстя царю царей за позор, который оно испытало у Геллеспонта. Ксеркс высек море плетьми, как непокорного раба. Оно вздулось волнами, оно рвало канаты и якоря, словно желало показать свою силу.

Ксеркс, как улитка, забился в свой пурпурный шатер и проклинал себя за то, что связался с этой неподвластной царям стихией. Все племена и народы Азии подчинились ему. Их цари склонили головы. Даже эти своевольные эллины, кроме спартанцев и афинян, отдали ему воду и землю; его армия движется к Фермопилам. Завтра она будет в Беотии, послезавтра — в Афинах, а еще через два дня должна занять Спарту. Но море стало на сторону мятежников и безумцев. Его лазурный блеск — маска. Оно неверно и полно коварства.

И не только одному Ксерксу было непонятно, что происходит у горы Пелион. Эллинские лазутчики, притаившиеся в кустах на склоне горы, тоже видели странную гибель персидских кораблей. И не верили своим глазам. На вершине вспыхнул смоляной факел. К союзному флоту под Артемисий полетела огненная весть о буре и об уничтожении двух десятков вражеских кораблей. Навархи под Артемисием принесли жертву Посейдону, который с тех пор стал называться Спасителем.

* * *

Три дня бушевала буря, сокрушая вражеские корабли. Персидские маги с помощью молитвы и кровавых жертв утихомирили ее лишь на четвертый день, а может

быть, как полагает греческий историк Геродот, она утихла сама по себе, исчерпав всю свою ярость. В тот страшный год персидского нашествия разоренная и истерзанная Эллада еще не видела такого ясного утра. Был неподвижен сонный воздух. Отражая синий купол неба, безмятежно дремало море. Слабые волны набегали на усеянный обломками песок и напоминали чуть колышущийся голубой ковер.

Человек с тяжелой ношей, прихрамывая, поднимался в гору. Нет, это не корзина, не свернутая сеть. На спине у него прекрасное девичье тело. Черные волосы закрыли лицо, и не виден кровавый след схватки с морем и скалами. Человек нес девушку с такой бережностью, будто боялся причинить ей боль. Он всхлипывал, что-то бормотал. В этом бормотании можно было различить лишь цифры: пятнадцать... тринадцать... Видимо, человек был не тверд в счете. Он сбивался и начинал сначала: три... пять... семь... двенадцать...

Спор не смог ничем помочь Гидне. Не только он, калека, но даже сам Скиллий, будь он жив, не смог бы спасти дочь. На глазах у Спора швырнуло Гидну на прибрежные камни. Когда Спор вытащил ее, Гидна еще дышала, а рука ее все еще сжимала нож.

Спор не смог спасти Гидну. Но он рассказал о ней эллинам. Молва разнесла весть о подвиге девушки по городам Эллады. Узнали о нем и эллинские навархи под Артемисием. Еще вчера большинство из них считало морскую мощь царя непреодолимой и ждало только благоприятной погоды, чтобы отвести союзный флот к берегам Пелопоннеса. Теперь же на совете навархов победило мнение Фемистокла — создателя морского могущества Афин. Фемистокл настаивал на сражении с персами у берегов Эвбеи. Одним навархам он обещал подарки, в других возбудил храбрость рассказом о подвиге Гидны, дочери Скиллия. Навархи решили сражаться, хотя перевес оставался по-прежнему на стороне варваров.

Палубы гудели от топота. С плеском поднимались из воды якоря. Хлопали надуваемые ветром паруса. Триеры выходили в море.

И пусть сражение с персами у мыса Артемисий не

имело большого влияния на общий ход войны — оно было для них полезным уроком. Эллины убедились, что множество кораблей, великолепие и блеск их украшений, хвастливые крики и варварские военные песни не заключают в себе ничего страшного для людей, умеющих сходиться с неприятелем вплотную, что начало победы — смелость.

Подвиг Гидны вдохновил и прославленного ваятеля, резец которого до того создавал одних лишь богов и богинь. Из холодной глыбы паросского мрамора он создал живое, трепетное девичье тело. Волосы покрывают плечи. Мокрая одежда плотно облегает бедра и грудь. Девушка кажется немного неуклюжей, угловатой. Она напоминает не Афродиту, а юную охотницу Диану. Кончиками пальцев девушка опирается на пьедестал. Все в ней устремлено вперед. Кажется, она под водою, и над нею черные днища кораблей и бушующее море...

Когда разгромленные персы бежали из Эллады, ваятель перевез свое творение в Афины. Тысячи людей приходили к его скромному жилищу, чтобы взглянуть на это чудо искусства. И ваятель понял, что не должен держать статую у себя. Он решил пожертвовать ее Дельфийскому храму, чей оракул мудро советовал эллинам молиться ветрам. Статуя Гидны простояла в Дельфах почти пятьсот лет, вызывая восхищение и благоговейный восторг всех, кому была дорога свобода Эллады. Как-то Дельфы посетил римский император Нерон, считавший себя знатоком и покровителем искусства. Нерон долго стоял перед статуей, склонив завитую, как у женщины, голову. Потом он щелкнул пальцами, что должно было означать высшее выражение восторга, и сказал в свойственной ему манере: «Эта нимфа достойна Нерона!» Льстивые жрецы, получившие от императора богатые подарки, поняли эти слова как приказание и тотчас подарили статую Нерону.

Корабль со статуей Гидны и другими дарами, полученными Нероном, был застигнут бурей и где-то у горы Пелион пошел ко дну. Море не захотело отдать Гидну римскому деспоту. С тех пор старые рыбаки рассказывают о прекрасной девушке, живущей под водой в хрустальном дворце. В лунные ночи она выходит на прибрежные камни и кружится в хороводе вместе с дру-

гими нереидами[1] в такт волнам. Ее носят дельфины на своих спинах. Морские чудовища ей покорны. Она помогает морякам, попавшим в бурю. Но более всего она благосклонна к ныряльщикам и ловцам губок.

## СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ

С ночи не унималась буря. В дыхании ветра ощущалась какая-то необузданная ярость, словно и впрямь он вырвался на волю из тесного мешка и теперь мстит за позорный плен и долгое бездействие. Пустынный берег стал полем битвы. Огромные кедры сгибались, как луки в невидимых руках. Стебли камыша, разложенные на берегу для просушки, разлетались как стрелы. Холмики песка перекатывались, как мускулы на теле борца. Дыхание ветра, рев волн, скрип гнущихся деревьев, крики несущихся над морем птиц — все эти звуки сливались в мелодию, полную дикой силы.

Лишь к вечеру сквозь разрывы туч впервые проглянуло блеклое солнце и тотчас же скрылось, будто недовольное открывшимся ему зрелищем. Берег покрыт обломками, сломанными ветками, черными скользкими водорослями, разбитыми ракушками. Пастушья хижина лишилась камышовой кровли и вместе с нею живописной привлекательности. Сквозь стропила и вырванные доски видна неприхотливая обстановка — кожаные бурдюки, покрытая овчиной скамья, грубо сколоченный ящик, заменяющий стол.

Но вот в свист ветра вплелся тихий, жалобный звук — блеяние. Овцы сбились в кучу. Они не узнают привычного им пастбища. Буря перемешала осоку с песком и водорослями, наполнила берег каким-то незнакомым острым запахом.

Пастух, уже немолодой сухощавый человек, казалось, не замечал беспокойства животных. Он сам с тревогой вглядывался в даль. Нет, это не выломанное

[1] Нерейда — нимфа моря. Согласно греческим легендам, нереиды живут в глубине моря во дворце отца — морского бога. Нереиды благожелательны к людям и помогают морякам в опасности.

бурей дерево, не морское чудовище, выкинутое волнами. Гаула! Одно из финикийских суден, плавающих вдоль берегов Внутреннего моря. Видимо, моряки в страхе перед бурей выбросили корабль на песок.

Пройдя несколько шагов, пастух увидел двух незнакомцев, прижавшихся спинами к днищу корабля. Это заставило его остановиться. От людей моря можно всего ожидать! Им ничего не стоит схватить человека и бросить его в трюм. Не успеешь оглянуться, как окажешься на невольничьем рынке. Скольких сыновей и дочерей потеряли жители прибрежных селений из-за коварства пришельцев! Но этим двоим, видимо, не до обычных проделок людей моря. Им без посторонней помощи не спустить своего корабля на воду.

Один из моряков, увидев пастуха, вскочил на ноги. Приложив ладони ко рту, он что-то закричал. Но ветер относил слова, и пастух ничего не услышал. Тогда незнакомец, увязая по щиколотки в песке, побежал навстречу пастуху. Когда их разделяло не более двадцати локтей, моряк остановился и радушно крикнул:

— Мир тебе и твоему стаду!

— И тебе также мир! — отвечал пастух после долгой паузы, потребовавшейся для того, чтобы оглядеть незнакомца с ног до головы.

Это был великан с черной бородой лопатой. Его плечи покрывал плащ, стянутый на бедрах широким кожаным поясом. Сбоку за поясом торчал кривой бронзовый нож. Несмотря на гигантский рост и, видимо, недюжинную силу, было в облике незнакомца что-то внушающее доверие.

— Ну и ветер! — воскликнул незнакомец, энергично взмахнув рукой.— Порази меня Мелька́рт в пятое ребро, если я знаю, куда он занес нашу гаулу! Что это за местность? Что это за речушка?

— Ты находишься неподалеку от Сидона! [1] — отвечал пастух.— Имя этой реки Бел. Это самая знаменитая река в нашей стране.

— Знаменитая! — удивленно протянул моряк.— Чем же она знаменита?

---

[1] Сидо́н — один из крупнейших финикийских портовых городов.

— Бел славится своими камышами,— отвечал пастух.— Нигде нет таких высоких камышей.

— На берегах Нила камыши выше, чем здесь,— сказал моряк.— В них может спрятаться всадник вместе с лошадью. Это верно, как то, что зовут меня Хира́мом.

— Я не знаю, о каком Ниле ты говоришь,— сказал пастух после недолгого раздумья.— Но я никогда не поверю, что всадник сможет укрыться в камышах.

— Ты не знаешь, о каком Ниле я говорю! — воскликнул чернобородый, отступая на шаг.— Ведь Нил только один, как солнце на небе. Никто толком не знает, откуда он течет,— так велика эта река. Никому еще не удавалось достигнуть ее истоков. И самое удивительное — Нил разливается в жаркое время года, когда посевы более всего нуждаются во влаге.

— Этого не бывает! — сказал пастух.— В жару реки высыхают.

— А в Египте в жаркое время высыхают лишь озера,— сказал моряк.— Мы везем на гауле соду, как раз из этих озер...

— А что такое сода? — перебил его пастух.

— Идем со мной,— нетерпеливо проговорил Хирам.— Я не могу тебе показать ни высоких нильских камышей, ни разливов самого Нила. Но соду ты увидишь.

Прошло немного времени, и они оба уже стояли у гаулы.

— Послушай, Кадм...— сказал чернобородый, наклоняясь к своему товарищу.— Можно подумать, что нас занесло за Мелькартовы Столбы, к варварам, которые носят звериные шкуры, едят коровье масло и не знают вкуса оливкового! Этот человек такой же финикиец, как мы с тобой, и не слышал о соде. Он не верит, что есть реки, разливающиеся в жару.

— Что ты к нему привязался? — откликнулся тот, кого назвали Кадмом.— Пусть остается в неведении. Чем люди меньше знают, тем для них лучше.

— Нет, я заставлю его поверить в правдивость моих слов! — горячо возразил чернобородый.— Стой здесь! — обратился он к пастуху.

Через несколько мгновений чернобородый вернулся. В руках у него было что-то обернутое тряпкой.

— Смотри,— кивнул он пастуху, разворачивая тряпку.— Это сода...

— Сода?..— повторил пастух.— Да такой содой я кормлю овец...

— Сам ты овца! — рассердился чернобородый.— Ты кормишь своих животных не содой, а солью. Сода не соленая, а пресная. Из нее делают лекарства. Сукновалы Сидона отбеливают содой ткани.

Услышав слово «Сидон», Кадм оживился.

— Вот бы сейчас оказаться в Сидоне...— произнес он мечтательно.— Погреться у очага... Обсушить одежду...

— Надо разжечь костер,— посоветовал пастух.— Хочешь, я принесу сухих веток?

— Тащи! — крикнул чернобородый, подмигнув своему другу.— Костер ничем не хуже очага.

— А помнишь костры в скалах Сицилии? — сказал Кадм, вставая.— Сикулы разожгли их, чтобы нас обмануть. Еще немного — мой корабль разбился бы о камни и нам пришлось бы встретиться с Дагоном[1] в его подводном дворце.

— Это было бы не самое худшее,— молвил чернобородый.— Лишь бы не попасться живым к этим дикарям. Сикулам не нужны рабы. Что бы они с ними стали делать? Со своими овцами они справляются сами. Сикулы бросают пленников в пещеры, откармливают их, как каплунов, и съедают. Нас бы с тобой поджарили на вертеле...

— Говорят, что они ростом в столетний кедр и на лбу у них один глаз,— вставил Кадм.

Слова эти вызвали у чернобородого раздражение.

— Где это видано, чтобы смертные соперничали ростом с деревьями! — сказал он с неудовольствием.— На рынке рабов при мне продавали сикула. Клянусь Мелькартом, тот сикул был не выше нас. Как он на меня смотрел! Сколько в его взгляде было ненависти!

Появился пастух с огромной связкой хвороста. И вскоре весело затрещал костер. Моряки пододвинулись к огню. От мокрой одежды пошел пар.

Хирам давно уже заметил, что огонь обладает уди-

[1] Дагóн — бог моря.

вительным свойством развязывать людям языки. Стоит самому молчаливому человеку сесть у костра, как он становится разговорчивым. Не иначе, как у костра, дающего тепло и отгоняющего хищников, родились сказки о подвигах предков, передаваемые из поколения в поколение. Кадм знал бесчисленное множество подобных сказок и, видимо, страдал оттого, что некому было их рассказывать. Хирам не выносил небылиц. Поэтому появление нового слушателя вызвало у Кадма оживление.

— Хочешь, я расскажу тебе про Иону, которого проглотило чудовище? — обратился он к пастуху.

Пастух замахал руками:

— Не надо про Иону. Я слышал о нем еще от отца.

— А я — от деда,— вставил Хирам.— Дед рассказывал, что вместе с Ионой чудовище выплюнуло девицу с языком до колен. Иона взял ее в жены. От них пошло племя лжецов и болтунов.

Пастух расхохотался.

Кадм с обидой взглянул на Хирама.

— Не хочешь ли ты и меня причислить к этому племени! — воскликнул он.— Да не выйти мне в море, если случай с Ионой не записан в священных книгах иудеев. Не стали бы иудеи заносить в свои книги небылицы.

— Книги пишутся не богами, а людьми,— возразил Хирам.— Об одноглазых великанах тоже написано в книгах, только не в иудейских, а в эллинских. Как будто ложь станет правдой, если ее запишешь! Конечно, в море водятся огромные чудовища. Я сам наблюдал за одним из них за Столбами Мелькарта. Ударом хвоста это чудовище могло бы разбить корабль. Я готов поверить, что ему ничего не стоит проглотить человека. Но не наделено же чудовище разумом! И не может оно отличить правдивого человека от отвратительного хвастуна, которого даже противно съесть?

— Я с тобой согласен,— сказал пастух.— Люди моря рассказывают много небылиц. И, если им верить, надо иметь уши до колен. Но чем твоя небылица о реке, разливающейся летом, лучше рассказа об Ионе, которого проглотило и выплюнуло морское чудовище?

От неожиданности Хирам развел руками.

— Я пойду к своим овцам,— продолжал пастух.—

Время уже позднее. Пес мой уже стар и не справится один с волками.

— Вот чего ты добился! — сказал Кадм оторопевшему Хираму, когда они остались одни. — Если хочешь, чтобы тебе верили, не уличай ближнего своего во лжи. Твою соду приняли за соль. Но можно обыкновенную соль выдать за снадобье, исцеляющее ото всех болезней. Людям нужен обман как воздух. Налей им воды из колодца и заставь поверить, что это живая вода. Введи самые суровые законы и объяви, что настал золотой век. Они поверят золотому веку. Потому что человеку свойственно верить в лучшее. Оттого люди и любят сказки. Погоди, да ты спишь?!

Чернобородый дремал, опустив голову. Тряпка с содой выпала из его рук и упала в огонь. Кадм не стал ее поднимать. Он подбросил в костер веток, завернулся в плащ и лег рядом с Хирамом.

Ветер раздувал пламя. Костер гудел. Искры летели в темноту, как звезды.

* * *

На небе, очистившемся от облаков, сияло солнце. Море почти успокоилось, и лишь белые гребешки волн напоминали о его вчерашнем буйстве. Песок начал просыхать и снова покрылся блестками.

Костер едва дымился. Чтобы вернуть ему жизнь, Хирам стал разгребать золу палкой. Внезапно что-то блеснуло. Протянув руку, Хирам поднял какой-то предмет, напоминающий камень. Предмет был совершенно прозрачным. Сквозь него были видны линии, расходящиеся во все стороны из центра ладони и пересекаемые такими же линиями. Когда-то в Вавилоне старый халдей, читая по протянутой ладони Хирама его судьбу, предсказал богатство, красивую жену и пятерых сыновей. Ни одна из женщин, которых знал Хирам, не стала ему женой. Женщины встречались ему на пути, как гонимые ветром корабли, пробуждая в его душе смутное беспокойство и жажду новых странствий. Жизнь проходила в ожидании чего-то необычного, яркого, как оперенье птиц далекой страны Пунт, куда он ходил с караваном египетских кораблей. Не было ни одного порта на берегах Внутреннего моря, где бы он не бро-

сал якорей. Он мог бы с повязкой на глазах провести гаулу в проливе между скалами, которым суеверные моряки дали прозвища Сциллы и Харибды. Немало золотого песка протекло между пальцами Хирама. Но он не дал себе труда сжать кулак, чтобы удержать богатство. Он никогда не имел своего корабля и плавал кормчим на чужих.

— А...— сладко зевнул Кадм, протирая заспанное лицо.— Смотри, как светло! И море почти спокойно...

— Что это у тебя такое? — спросил он, когда солнечный луч, пронизав предмет на ладони Хирама, скользнул по его глазам.

— Не знаю,— отвечал Хирам.— Я нашел это в золе костра. Похоже, что камень...

— Похоже,— согласился Кадм, внимательно разглядывая находку.— Только я никогда не видел таких прозрачных камней.

— Постой! — Хирам хлопнул себя по лбу.— Кажется, я начинаю догадываться, что̀ это такое. Я уронил в костер соду. Огонь расплавил ее вместе с песком. Это сплав соды и песка, так же, как бронза — сплав олова и меди. Если я прав, мы сможем изготовить бесчисленное множество таких, как этот, камней и научить других...

— Не торопись,— перебил Кадм.— Зачем нужно кому-то объяснять, что этот чудесный камень состоит из песка и соды? Не лучше ли рассказать, что он упал с неба? Ведь падают же с неба камни...

— Падают,— согласился Хирам.— Из тяжелых небесных камней делают амулеты. Жрецы наживают на них состояния, так как небесные камни дороже золота.

— Вот видишь! — обрадовался Кадм.— Мы сумеем дорого продать наш камень и сделаем столько камней, сколько нам будет нужно. Только держи язык за зубами, чтобы никто не узнал нашего секрета.

— Ты хочешь разбогатеть на обмане,— рассмеялся Хирам.— Не забывай поговорку: легче спрятать пять слонов под мышкой, чем скрыть обман. Страна наша бедна. Почва ее камениста. Она не может прокормить сыновей Финикии. Почему бы финикийцам, покидающим родину и ищущим счастье за Столбами Мелькарта, не извлечь богатства из песка, что у них под нога-



ми? Поверь мне: из этого сплава, превосходящего своей красотой янтарь, можно сделать множество ценных вещей. Бедняки найдут работу.

— Какое тебе дело до тех, кто беден и ищет счастья на чужбине? — сказал Кадм.— Подумай лучше о себе. Ты уже немолод. Пора тебе иметь свой угол.

— Обман и невежество, невежество и обман — вы сыновья одной матери,— прогудел Хирам с торжественностью, напоминающей чтение молитвы.— Невежда — слепец, а обман — пелена на его глазах. Распиши пелену в любой цвет, она останется пеленой. Правда же прозрачна, как этот камень. Солнце не гаснет, хотя оно и опускается в океан. Нил не иссякает, хотя и течет

тысячи лет. Так и правда пребудет правдой. Прекрасны сказки, которые создает человек. Но правда во сто крат прекраснее самого красивого вымысла. Из соды и песка создано это чудо. А сколько еще чудес вокруг нас! Почему Нил разливается летом? Почему море то накатывается на берег, то отходит вспять? Почему солнце совершает по небу свой путь? Тот, кто не хочет задуматься, говорит о богах...

— Ты не веришь в богов! — в ужасе закричал Кадм.

— Я верю в правду...

— Замолчи, безумец,— закричал Кадм,— и отдай мой камень! Это моя сода! Всё, что на моем корабле, принадлежит мне. Ты лишь кормчий. Я нанял тебя потому, что ты умеешь находить путь по звездам. Но ты не смыслишь ничего в искусстве ходить по земле. Младенец понимает в этом больше тебя.

Кадм протянул руку, чтобы выхватить камень. Но Хирам повернулся и вскочил с легкостью, удивительной для его грузного тела. Не отрывая взгляда от камня, он шагал туда, где стояла пастушья хижина. Может быть, он хотел показать пастуху солнечный камень и поведать ему, что не только в Египте, но и здесь, на финикийской земле, могут происходить чудеса — чудеса, которые рождаются матерью-природой, а не богами. Может быть, он хотел его обрадовать, что река Бел вскоре станет такой же знаменитой, как Нил.

— Хирам! Вернись! — молил Кадм, напуганный странным поведением кормчего.

Но Хирам шел, не оглядываясь, не отрывая взгляда от камня.

## ЛИСИЦА

Аристомен с усилием приподнял голову. Кровь текла по лбу и заливала глаза. Раны на голове, наверное, не опасны, но правой рукой не пошевелить. Кажется, она сломана выше локтя.

Память вернула Аристомена к тому, что было утром. Он шел узкой тропинкой под нависшими скалами. Чуть ли не наступая ему на пятки, за ним шагали спартиаты.

Когда Аристомен приостанавливался, чтобы передохнуть, острие меча касалось его лопаток. Невыносимо хотелось пить. Перед тем как выйти из лагеря, спартиаты позавтракали. Он видел, как они ели, пили вино. Младший из них, подобрее, протянул Аристомену амфору. Но старший, злобный, как цепной пес, вырвал ее из рук. «Кур перед смертью не поят!» — произнес он с ухмылкой.

Аристомен вспомнил, как год назад он стал свободен благодаря странному случаю, в котором он склонен был видеть вмешательство богов. Девушка в одеянии жрицы незаметно для часового проникла к нему, связанному узнику. В руках у нее полыхал факел. Не говоря ни слова, она поднесла факел к веревкам и пережгла их. Аристомен не успел и опомниться, как девушка исчезла. Он даже не знает ее имени. Может быть, и теперь боги не оставят его? Но нет, на этот раз ему не спастись...

По дороге конвоиры заспорили. Нещадно палило солнце, и младшему надоело идти по жаре; он решил заколоть пленника. Но старший настоял на своем. Аристомен слышал, как он сказал: «Этот не заслужил легкой смерти. Пусть помучается! Сколько он нам причинил беспокойств!»

Аристомен уже тогда понял, что его ведут к Кеаду. Одно это слово могло внушить ужас. Близ этой пропасти не встретишь живой души. Пастухи со своими отарами обходят ее за много стадий[1]. Говорят, даже птицы не вьют своих гнезд близ Кеада. Там бродят призраки казненных.

Аристомен остановился на самом краю пропасти. Камни посыпались из-под его ног. Он невольно закрыл глаза. Старший спартиат заметил это и злорадно прошипел:

— Ага! Струсил! Зря тебя называют Неустрашимым.

Аристомен хотел было ответить, что обязан своему прозвищу не расправе над беззащитными пленниками, не предательскому нападению на спящих, но победам

[1] **Ста́дий** — мера длины, впервые принятая на Востоке, а затем заимствованная греками. Длина стадия в переводе на метры колебалась у разных народов от 194 до 230 метров.

в открытом бою. Он не успел и рта открыть. Младший спартиат крикнул: «Кончай!» И Аристомен ощутил толчок в спину. Последнее, что он услышал, падая, было: «Лети в Аид!..»

...Ладонью левой руки Аристомен стер со лба и щек запекшуюся кровь, потом медленно открыл глаза. Над ним был клочок неба, круглый, как щит. Кое-где выступали зеленые ветки. Один из этих кустов спас Аристомену жизнь. Лучше бы разбиться насмерть. «Из Кеада еще никто не возвращался». Так сказал этот пес. Аристомен в глубоком каменном колодце. Даже если бы у него не была повреждена рука, ему бы все равно не выбраться отсюда.

Восставших мессенцев[1] спартиаты бросали в Кеад. Может быть, и другие гибли не сразу. И пастухи слышали не голоса духов, а вопли умирающих. Люди погибали здесь от голода и жажды. И никто не мог им помочь.

Как хочется пить! Губы распухли. Гортань воспалена. Хотя бы один глоток воды перед смертью! Аристомен перевернулся на грудь и пополз, стараясь не причинить боль сломанной руке. Он искал воду, хотя и знал, что на дне пропасти не может быть воды: кругом все голо и сухо. Хотя бы одну каплю воды!..

Что-то зашуршало. На камне появилась ящерица. Она взглянула на Аристомена своими маленькими желтыми глазками и молниеносно исчезла в расщелине.

— Куда ты бежишь, ящерица? — прошептал Аристомен.— Я бы тебе не сделал зла...

А что там белеет впереди? О, груда человеческих костей... Оскаленный череп... Аристомену впервые в жизни стало страшно. Волосы зашевелились у него на голове. «Кем ты был? — подумал он.— И какой была твоя смерть? Умер ли ты, не приходя в сознание, или искал воду, как я? Может быть, кричал, звал на помощь. Эхо усиливало твой голос. А пастухи бежали, словно за ними гнались злые духи».

Аристомен отвернулся, чтобы не видеть черепа и пустых глазниц. «Такая участь ожидает и меня. Моя

---

[1] **Мессе́нцы** — обитатели Мессении. В течение многих лет они вели героическую борьбу против спартанских захватчиков.

душа будет скитаться по свету до тех пор, пока случайно не обрушится скала и не покроет моих костей».

Аристомен закрыл глаза. Ему вспомнился Критий. Правильно говорят мудрецы: не называй человека счастливым, пока не узнаешь, какой у него будет конец. Критий испытал неисчислимое множество бед. Спартиаты сожгли его дом, замучили сестру, убили мать. Три года он был в плену и добывал руду под землею. А вот смерть у него была легкой. Критий умер от ран среди друзей. Обнимая Аристомена холодеющей рукой, он сказал: «Воин должен быть не только львом, но и лисой». Это были его последние слова. «Да, Критий прав. Мало одной отваги. Спартиаты перехитрили нас, подослав в отряд этого хромого илота. Он выдал врагам наше убежище близ Амикл. Во время боя ударил меня сзади камнем, и я попал в руки врагов».

Аристомен приоткрыл глаза. Что-то огненно-рыжее возникло в нескольких шагах от него. Лисица? Нет, этого не может быть! Откуда здесь лисица? Это предсмертное видение: он подумал о лисице и она пришла. Скоро он увидит и воду. Как Тантал, наказанный небожителями, он будет стоять по горло в воде и терзаться жаждой. Вода отступит, когда он захочет сделать глоток. А потом появятся скорбные тени друзей. Что ответит Аристомен на их молчаливый укор?

«Нет, друзья — ты, Критий, и ты, Сигей,— я не боюсь вашего суда. Совесть моя чиста. Я принимал в войско всех, кого Спарта сделала рабами. Вы скажете, я был беспечен. Но подозрительность во сто крат хуже беспечности. Она превращает самых близких людей во врагов. Нашелся один презренный предатель. Но ведь остальные илоты сражались как львы. И если бы...»

Аристомен пошевелился, и лисица побежала, посыпались камешки. У выступа скалы лиса остановилась и повернула к нему свою острую мордочку.

Аристомен тряхнул головой, чтобы прогнать этот призрак. Но лисица не исчезала. Он понял, что это живая лиса. «Что ей здесь надо? А, она голодна... Ее привлек запах моей крови. Но как она сюда попала? Она ведь не могла спуститься, как ящерица, по отвесной скале. Может быть, ее поймали в курятнике и сбросили вниз, как меня? А теперь она ждет моей смерти».

Аристомен нащупал камень и поднял его. Взмахнув хвостом, лисица исчезла за выступом скалы. Он пополз за нею. Но лиса словно провалилась под землю. И Аристомену вновь стало казаться, что это был призрак.

Скала, под которой лежал Аристомен, испещрена красноватыми пятнами. Такие пятна оставляет вода. Нет, не дождевая. Здесь был источник. Он иссяк или изменил направление. А может быть, вода еще здесь, в скале?!

Аристомен занес руку, чтобы ударить по красным пятнам, как будто это могло дать выход воде. Но камень выскользнул из ослабевшей руки и упал в кусты. Аристомен смотрел, как падает камень, и вдруг за кустами заметил какое-то углубление. Наверное, это лисья нора, и лиса не привиделась ему.

Аристомен подполз к кустам и отодвинул колючие ветви. Нет, это отверстие не похоже на лисью нору. Запахло сыростью. «Где-то здесь должна быть вода...— подумал он и облизал пересохшие губы.— Неужели вода?»

Аристомен просунул голову и плечи в отверстие, но его остановила мучительная боль в руке, и на какое-то мгновение он потерял сознание. Очнувшись, он сделал еще одно движение. Теперь все его тело было в норе. «А что, если это тупик и я не смогу выбраться назад, задохнусь? Не лучше ли перед смертью увидеть клочок неба?» И все же он продолжал двигаться вперед.

Ход расширялся. Теперь Аристомен мог уже ползти на четвереньках. Какой здесь мрак! А что, если это спуск в Аид, где обитают тени умерших, и я живым, как Одиссей, попаду в их царство? Но в Аиде текут Ахеронт и Лета[1]. И я напьюсь, напьюсь, напьюсь!»

Ход стал еще шире и выше. Аристомен смог наконец подняться во весь рост. Шатаясь от усталости, натыкаясь на стены, он брел и брел, пока его ступни не ощутили ледяной холод.

Вода! Аристомен лег на землю и, зачерпнув ладонью

---

[1] Ахеро́нт и Ле́та — согласно верованиям древних греков, реки подземного царства — Аида. Вода Леты будто бы приносила умершим забвение земной жизни.



воду, сделал первый глоток. Вода! Она прекраснее нектара, который пьют боги на Олимпе. Нет, это не вода Леты, один глоток которой заставляет забыть землю и жизнь. Не вода забвения. Она напомнила Аристомену о жизни и о долге перед живыми. Напрасно ликуют спартиаты, празднуя свою победу у Амикл. Напрасно они приносят благодарственные жертвы богам. Мессенцы не станут илотами. Мессения ждет Аристомена. И он явится из-под земли. Теперь он будет осторожнее и хитрее. Осторожность — это не подозрительность. А хитрость — просто знание жизни, умение отводить от себя удары судьбы.

Аристомен шел по щиколотку в воде. Но рано еще думать о жизни. Есть ли у этой пещеры выход? Или он будет идти, пока не ослабеет от голода? Но лиса... Не этим ли путем она пришла в Кеад? Лиса? Лисонька! Где ты?

«Что белеет там, впереди? Неужели опять чьи-то ко-



1

сти? Кто-то до меня искал выход из Кеада и не нашел?..»

Но нет, это не кости. Это луч света. Он пробился сквозь отверстие, заросшее зеленью. Протянув вперед здоровую руку, Аристомен шел навстречу свету. Чтобы не задеть головой каменный свод, он пригнулся и, ударяясь плечами о камни, но не чувствуя боли, побежал.

Наконец его рука нащупала ветви. Он отодвинул их головой.

Первое, что он увидел, был хвост лисы, огненно-рыжий, как солнце, зовущий, как жизнь.

## СТАРЫЙ МУЛ

Хорошее настроение — как солнечный день в ненастную пору. Приходит оно, и становится так легко, будто боги сотворили тебя не из камня, а из пуха. Никакие огорчения и обиды не могут омрачить твоей улыбки, даже если у тебя суровый господин, а спина в темных полосах, как у дикой ливийской лошадки.

Гетан шел и громко пел на своем варварском наречии. Его темное лицо блестело, словно намазанное жиром. Босые ноги поднимались и опускались в такт песне. Наверное, ни один человек в Афинах не смог бы ее понять, потому что Гетан был родом из далекой страны, где-то за Понтом Эвксинским. Но юноше казалось, что не только люди, но и деревья и стены внимают его песне и радуются вместе с ним.

Вчера Гетан нашел у дороги в корнях старого платана один обол. Только те, у кого никогда не было собственных денег, могут понять радость Гетана. Один обол — это куча удовольствий, недоступных рабу: амфора настоящего вина, пара ячменных хлебцев, копченый угорь или блюдо, достойное уст богов, — сушеные фиги. Радость не приходит одна. Утром господин, впервые за много дней, отпустил Гетана одного в город. Надо отвести на живодерню мула. Он уже стар и спотыкается под ношей. Господин не таков, чтобы кормить бесполезное животное. Гетану строго наказано, чтобы

он взял обол за шкуру и поскорее возвращался домой. Но Гетан не настолько глуп, чтобы торопиться: ведь не каждый день случается остаться одному. Хорошо бы заглянуть на агору и потолкаться среди рабов, пришедших за провизией. Может быть, удастся отыскать земляка и отвести душу в беседе. Неплохо бы побывать у цирюльников и услышать городские новости. Если господин спросит, почему Гетан пришел поздно, он объяснит, что проклятый мул еле плелся. Не мог же он тащить его на себе!

А мул в самом деле не спешил. Кажется, у него тоже было хорошее настроение. Ведь камни сегодня не натирали покрытой болячками спины и не давили всей своей тяжестью к земле. И никто не бил его и не подгонял. К счастью своему, мул не догадывался, что солнце светит ему в последний раз. Его большую облезлую голову не тревожили мысли о бренности существования. Его не огорчала неблагодарность человеческой породы. Девять лет он вертел тяжелое мельничное колесо, еще два года в лямке с другими животными таскал плиты, барабаны для колонн, пахнущие смолой желтые доски. Он знал каждую выбоинку, каждую неровность на той единственной зигзагообразной дороге, по которой можно было подняться на Акрополь. Но эта протоптанная чьими-то копытами тропинка была ему незнакома. Может быть, оттого мул останавливался, озираясь на своего провожатого... А может быть, ему не часто случалось видеть поющего человека... Для него, мула, привычнее были другие звуки. Ему приходилось наблюдать, как люди бьют таких, как они сами, людей по телу, не защищенному шкурой, и слышать человеческие вопли. Так громко и жалобно не кричит ни один мул. Потом эти люди чем попало колотили вьючных животных, вымещая на них свою обиду и боль.

Гетан пел, бредя за мулом, и, может быть, его песни хватило бы до самой живодерни, если бы на пути не оказался человек. Он стоял, широко расставив босые ноги. Во всем его облике было неприкрытое желание учинить ссору. Гетан замолк и остановился. Ему был незнаком этот человек со вздернутым носом и шишковатым лбом. Гетан недоумевал, чем он мог восстановить против себя незнакомца. «Может быть, ему не по душе

моя песня? Или он хочет отобрать у меня мула?» — терялся в догадках Гетан.

— Мул, куда ты ведешь раба? — спросил незнакомец, когда Гетан с ним поравнялся.

Этот вопрос еще больше смутил юношу. Почему этот человек обращается к нему, а называет его мулом? Может быть, он страдает слепотой или боги лишили его ума? Решив, что разумнее всего не показывать своего удивления и страха, Гетан ответил как можно вежливее:

— Меня зовут Гетаном. Я раб Гилиппа. Мне приказали отвести мула на живодерню. Мул уже стар и не может работать.

— Тогда ты вдвойне осел. Разве тебе не жалко животное? Пусть оно идет своей дорогой, а ты иди своей.

— А один обол за шкуру? Я должен принести господину один обол.

Вместо ответа незнакомец вытащил из-за гиматия кожаный мешочек и запустил туда пальцы. Лицо его вдруг вытянулось. Он вывернул мешочек и потряс его.

— Странно...— выдохнул он.— Здесь был один обол. Куда же он мог деться? Неужели я его потерял?

И тут словно что-то дернуло Гетана за язык:

— Это не твой? — Он протянул ладонь с монеткой.— Я его нашел вчера под платаном.

— Не думаю,— ответил незнакомец, потирая кулаком затылок.— Да и как бы я мог узнать свой обол? Он был у меня немеченый. К тому же он еще утром болтался в кошельке. Где же я мог его потерять? Ах да, совсем забыл... Я отдал его нищему.

— Ты отдал нищему целый обол? — удивился Гетан, недоверчиво оглядывая собеседника с ног до головы.

Незнакомец понял мысль Гетана:

— Да, моя одежда тебя не обманывает. Клянусь собакой, я не богат. Но этот обол вызывал столько соблазнов, что я решил от него поскорее отделаться. А нищий был без ноги. Он, как я узнал, долбил руду в Лаврúонских рудниках, и на него свалилась глыба. Ногу пришлось отнять. Господин отпустил его на волю и прогнал из дому. Кому нужен безногий слуга?

Слова эти заставили Гетана задуматься. Его хорошее настроение мгновенно улетучилось. Да, конечно, он слышал о Лаврионских рудниках. Господа отдают



туда своих рабов за один обол в день. Этому одноногому повезло. Он получил свободу. Другие через год-два умирают от побоев или затхлого воздуха. «Не поэтому ли незнакомец назвал меня мулом, что я безропотно тяну свою лямку, не задумываясь о будущем? — думал Гетан.— Когда я стану стар, как этот мул, меня вышвырнут из дома, как ненужную вещь. Если бы моя шкура имела какую-нибудь цену, если бы из нее можно было делать ремни или кошельки, меня бы самого отвели на живодерню».

— Ты дал обол нищему,— сказал Гетан,— а я отдам обол господину. Пусть этот мул идет своей дорогой, а я пойду своей.

Гетан повернулся и энергично зашагал по направлению к агоре. Незнакомец бросил взгляд на мула, меланхолически покачивавшего головой, засунул кожаный мешочек за край гиматия и двинулся вслед за рабом.

* * *

Утром следующего дня строители Парфенона оказались свидетелями странного зрелища. Несколько десятков вьючных мулов тащили в гору большую мраморную глыбу, из которой сам Фидий должен изваять статую Афины. Впереди животных брел мул безо всякой поклажи. Никто не погонял и не понукал его. Мул часто оглядывался, словно для того, чтобы удостовериться, идут ли животные. Он потряхивал головой, как бы одобряя их рвение. Дойдя до вершины холма и дождавшись, когда мулы освободятся от своей ноши, он спускался с ними вместе вниз и снова поднимался.

Слух об удивительном муле распространился по городу с молниеносной быстротой. Вездесущие цирюльники покинули своих клиентов и прибежали к подъему на Акрополь с ножницами и бритвами в руках. Агора, в это время напоминавшая муравейник, опустела наполовину. Около своего товара остались одни лишь торговцы, недоумевавшие, куда бегут покупатели. Кто-то ударил в колокол, извещавший о привозе свежей рыбы, но даже это сильнодействующее средство не могло вернуть на агору любопытных и падких до зрелищ афинян.

— Да это осел Гилиппа! — крикнул кто-то в толпе.

— Гилипп получил обол за его шкуру! — объяснил другой.— Осел воскрес из мертвых.

— Смотрите! Смотрите! Как он вышагивает, словно смотритель! — подхватил третий.

На белый камень, видимо предназначенный еще для какой-то статуи, поднялся человек с курносым носом и шишковатым лбом. Это был тот самый незнакомец, который остановил Гетана и убедил отпустить мула. Гетан, работавший на постройке Парфенона, сразу узнал своего собеседника, и ему стало необыкновенно радостно. Раб чувствовал себя настоящим героем. Ему казалось, что все смотрят на него и восторгаются его поступком. Ведь это он, Гетан, отпустил мула, вместо того чтобы отвести его на живодерню. Он не пожалел своего единственного обола. Он не побоялся, что господин может обнаружить обман.

Человек на белом камне поднял руку, и воцарилась тишина.

— Граждане! — сказал он сдавленным голосом.—

Боги явили нам чудо, которого не знал ни один из городов эллинов или варваров. Взгляните на этого мула. Спина его в ссадинах и болячках. Два года он таскал камни и доски, из которых вы строите Парфенон. Когда его отпустили, он пришел сюда сам. Клянусь собакой, он хочет воодушевить нас своим примером! В мире еще не было храма, подобного тому, что поднимается на вершине Акрополя. Мир еще не знал статуй, которые высекают Фидий и его ученики. Смотрите, как жизнерадостны эти творения, какой цветущей свежестью дышат они! Рука времени не страшна им — в них вечно живая, нетленная душа. Так пусть же белизну этих статуй, этих колонн не запятнает несправедливость! Неужели наше государство не в состоянии прокормить мула, состарившегося на постройке Парфенона?

Раздался одобрительный рев толпы.

На белый камень поднялся другой оратор, человек лет сорока, с красивым властным лицом.

— Перикл! — закричали в толпе.— Тише! Будет говорить Перикл.

— Граждане! — сказал Перикл.— Я не собираюсь произносить речь. Друг мой Сократ сделал это за меня. Пусть глашатай объявит, что мул Гилиппа находится под защитой государства. Если это животное набредет на хлебное поле или запасы зерна, его запрещается гнать, пока оно не насытится, а гражданам надлежит внести в пританей деньги, чтобы ему, подобно состарившемуся атлету, в дни праздников было обеспечено угощение. Раба же, спасшего мула, я выкупаю за свои собственные деньги и дарую ему свободу.

## ХУДОЖНИК

Фокион увидел его сразу, как только вступил в портик[1], где много лет обучал афинских мальчиков. Человек лежал на полу, у самой кафедры, лицом вверх. Это

[1] Портик — открытая галерея с колоннами, прилегающая к зданию или являющаяся отдельной постройкой. Портиками окружали преимущественно рыночные площади. Ими пользовались не только для прогулок во время солнцепека и дождя, но и для различного рода собраний или занятий с детьми. Стены портика служили для выставки картин.

был дряхлый старик с изможденным лицом. Редкие седые волосы слиплись от пота. Хитон, покрывавший тощее тело, весь в дырах. Приглядевшись, Фокион различил рубцы от бичей и ожоги на руках и ногах незнакомца. Конечно, это раб, бежавший от жестокого господина. Наверно, он надеялся найти защиту в храме Тесея[1], но силы изменили ему, и он заполз в портик. Хорошо, что еще ранний час и нет учеников. Надо будет дать этому несчастному воды и указать дорогу к храму.

Фокион наклонился к рабу, чтобы помочь ему подняться.

— Чей ты? — спросил он.

— Парра́сий,— прохрипел старик,— художник Паррасий. Вот, вот...— Он показывал на следы от ожогов и рубцы.

«Так вот оно что...— подумал Фокион.— Значит, это Паррасий пытал старика. Но зачем?»

Фокион усадил раба спиною к кафедре и взял с полу амфору. Вода — в бассейне против портика. И Фокион сделал знак, что скоро придет.

Когда он вернулся, раб лежал на спине с запрокинутой головой. Фокион приложил ладонь к его груди. Сердце не билось.

«Отмучился»,— подумал учитель и тотчас же отправился за людьми. Труп надо вынести из портика — скоро придут ученики.

Весь этот день учитель был рассеян, не замечал проделок своих питомцев. А они, как всегда, были изобретательны на шалости. Недаром в Афинах говорят: легче выдрессировать дикого зверя, чем обучить мальчишку. В портике двадцать сорванцов. И каждый норовит придумать такое, чтобы казаться героем. Но сегодня учитель забыл о своей трости, обычно гулявшей по пальцам непослушных. Утреннее происшествие не давало Фокиону покоя.

Фокион знал Паррасия, сына Эвено́ра. Художник часто прогуливался под платанами агоры и, случалось, заходил в портик, чтобы послушать, чему учат малень-

[1] В демократических Афинах некоторые храмы, в частности храм Тесе́я, служили убежищем, где раб мог скрыться от преследования.

ких афинян. На нем был всегда щегольской, расшитый золотом гиматий, который он высоко подпоясывал, по ионийской моде. Волосы тщательно завиты. В дни праздников их покрывал знаменитый золотой венок.

Кто в Афинах не знал его истории! Однажды прославленный художник Зевксис принес в портик свою новую картину, изображавшую голубей на черепичной кровле. Голуби казались живыми. Вот-вот они взмахнут крыльями и поднимутся в воздух. Среди восхищенных зрителей находился и Паррасий, тогда еще молодой, никому не известный живописец. Зевксису показалось, что в помещении недостаточно светло, и он подошел к колонне, у которой стоял Паррасий, чтобы отдернуть занавес. И тут только Зевксис заметил, что занавес нарисован на деревянной доске, нарисован так искусно, что его на первый взгляд не отличишь от настоящего. Это была картина Паррасия. При всех Зевксис обнял молодого художника и подарил ему золотой венок — свою награду за «Голубей». Так к Паррасию, сыну Эвенора, пришла слава, а по пятам за ней поспешило богатство. Его картина «Дионис» была признана лучшей художниками Коринфа. Родосцы заказали Паррасию написать Геракла и поместили картину в храме. Трижды в нее попадала молния, но картина осталась нетронутой, что было сочтено чудом.

«Неужели этот любимец богов оказался негодяем — замучил несчастного старика? — размышлял учитель.— Закон разрешает пытать рабов, чтобы добыть у них показания для судей, если господина подозревают в каком-либо преступлении. Ведь свидетельство тела, раздираемого бичами или растягиваемого колесом, считается более веским, чем добровольное признание. Но Паррасий не был под следствием. Зачем же ему понадобилось превращать свой дом в камеру пыток? — думал Фокион.— Конечно, кто не наказывает своих рабов! Но убивать их запрещено законами божескими и человеческими».

Шло время. Фокион начал уже забывать о взволновавшем его происшествии. Да и самого Паррасия он долго не встречал. Одни говорили, что художник захворал; другие — что он дни и ночи работает над какой-то картиной, которой хочет потрясти Афины. Вскоре

слухи стали более определенными: Паррасий заканчивает картину «Прикованный Прометей» и вскоре покажет ее народу. Проступок Паррасия теперь казался Фокиону не таким уж страшным. Наверное, Паррасий засек своего раба в пылу гнева. Или, может быть, раб совершил какое-нибудь преступление, за что и был наказан по заслугам. Человек, решивший воплотить в красках и воске образ Прометея, не может быть подлецом!

Прометей был любимым героем Фокиона. Когда старый учитель рассказывал о нем своим ученикам, он весь преображался: глаза его загорались, в голосе появлялись незнакомые нотки.

— Прометей — величайший из благодетелей человечества! — говорил он притихшим ученикам.— Правда, он не задушил Немейского льва и не победил Лернейскую гидру[1]. Но он сделал большее: он пожертвовал собою для блага людей.

В то утро, когда новая картина Паррасия должна была быть выставлена на публичное обозрение, Фокион отменил занятия.

Радость мальчишек была неописуемой. В одно мгновение они оказались на агоре, где их ожидали педагоги[2]. С помощью педагогов Фокион построил учеников по парам и повел к Пестрому портику[3], где была выставлена картина Паррасия.

Пестрый портик был полон людей. Прикрепленная к колоннам картина еще закрыта полотном. Все ждали художника. Свое новое творение покажет народу сам прославленный Паррасий. А вот и он, как всегда роскошно одетый, в щегольских сандалиях с серебряными пряжками, с золотым венком на голове. У художника красивое, выхоленное лицо, самоуверенный взгляд. Да, этот человек сроднился со славой. Недаром его называют «победителем Зевксиса».

[1] Немéйский лев и Лернéйская гидра — согласно греческим мифам, страшные чудовища, уничтоженные Гераклом. Победы над ними — два из двенадцати совершенных Гераклом подвигов.

[2] Педагóгами называли рабов-воспитателей, сопровождавших учеников в школу. Педагоги обычно ожидали своих питомцев до окончания занятий.

[3] Пестрый портик получил свое название по росписи, украшавшей его стены.

Медленно и торжественно приподнял Паррасий полотно. Показались обнаженные ноги, мощное туловище Прометея и изможденное лицо — лицо страдальца. Высокий лоб испещрен морщинами, губы сжаты.

Фокион вздрогнул. На него смотрел тот самый раб, который умер у его кафедры. В глазах у Прометея были ужас, боль и еще что-то, чему Фокион не мог сразу дать название.

Теперь учитель понял, почему художник пытал своего раба. Паррасий стремился передать страдания Прометея. Варвар был его натурщиком.

Видимо, в толпе не было тех, которые считают себя ценителями искусства и, чтобы показать свою причастность к музам, выражают восхищение вслух. Все молчали. И тогда в тишине прозвучали слова Фокиона:

— Идемте, дети! Эта картина не может ничему вас научить. Она написана кровью и окроплена слезами неповинного человека. Художник Паррасий пытал его, чтобы правдивее передать муки. Но разве таким живет в нашей памяти Прометей? В этом образе нет ни любви к людям, ни возвышенного страдания. Видите, в зрачках застыл ужас и недоумение? Да, недоумение! Человек, который здесь изображен, умер в нашем портике, так и не поняв, почему его мучили...

Паррасий, ожидавший услышать похвалы и одобрения, оторопело смотрел на Фокиона. Какой-то учитель осмеливается порочить его творение из-за ничтожного раба, купленного за пять драхм!.. Большего он не стоил. Кому нужны старые невольники?

— Не обращайте внимания на этого глупца! — воскликнул Паррасий, обернувшись к толпе, обступившей его картину.— Это был раб и варвар. Вы слышите, граждане,— раб и варвар!

— Всю жизнь я учу детей на агоре,— продолжал так же спокойно Фокион.— Пусть это не принесло мне золотого венка. Но я знаю, что люди верят мне, старому учителю, и никто из вас не называл меня лжецом. Скажите вы, мои ученики, разве Прометей дал божественный огонь одним эллинам? Разве он не облагодетельствовал варваров и все человечество?

— Он выжил из ума! — закричал исступленно Паррасий.— Жалкий школьный учитель берется судить о



служителях муз! Какое ему дело до того, как создавалась моя картина и кто был натурщиком? Взгляните на лицо моего Прометея! Чем он напоминает вам раба? Искусство преобразило его черты и увековечило его муки.

Люди молчали. Но в этом молчании таилось что-то враждебное Паррасию. И он почувствовал это.

— Идемте, дети! — сказал Фокион. — Пусть я жалкий учитель, но этот человек не художник. Художник и в жизни должен быть Прометеем. Его сердце должно истекать кровью при виде зла и несправедливости. Он не опустит головы перед Властью и Насилием[1]. Не тщеславие и жажда почестей должны двигать им, а любовь к человеку.

Учитель повернулся. Толпа почтительно расступи-

---

[1] Власть и Насилие — два персонажа из трагедии Эсхи́ла «Прикованный Прометей». Они сопровождают бога Гефе́ста, приковывающего непокорного титана к скале.

лась, чтобы пропустить его и детей. А когда он был уже у выхода, все последовали за ним. Это были старые ученики Фокиона и те, кто видел его впервые. Это были люди, читавшие Эсхила, и те, которые, может быть, и не слышали о нем,— воины и ремесленники, разносчики воды и матросы. Это были граждане Афин, знавшие, что не только в великих сказаниях старины надо черпать примеры благородства и мужества.

Люди выходили наружу, где шумела агора, где сиял лучезарный Гелиос[1], освещая камни древнего Акрополя и поднятое к нему острие копья Афины Паллады.

## СЕМЕРО ПРОТИВ ФИВ

— Танцовщиц бы сюда!

Впоследствии нельзя было установить, кто из гостей произнес эти роковые слова. Но именно они лишили хозяина дома покоя.

Архин приподнял свои опухшие веки и с досады хлопнул себя по колену. «Конечно, танцовщиц! Как он об этом не подумал раньше!» «Пир без танцовщиц — все равно что яйцо без соли» — так говаривал афинянин Андрóкл. У него часто гостил Архин. Когда это было? Лет двадцать пять назад. Тогда Архин не был полемархом[2]. Тайком от отца он посещал Афины — город, полный всяческих соблазнов. Он жил у Андрокла. Этого богача давно уже нет в живых. Его приговорила к смерти афинская чернь за то, что он был врагом демократии и другом спартанцев.

Архин до глубины души ненавидел афинскую чернь, и с тех пор как она восстановила свою демократию, хуже которой нет на свете, он не бывал в Афинах. И что находят хорошего в этом городе? Там нельзя прибить на улице дерзкого раба. Вдруг это окажется сво-

[1] Гéлиос — бог солнечного света. Согласно мифу, Гелиос каждое утро с востока выезжает в колеснице, запряженной четверкой огнедышащих коней, и вечером снова спускается в Океан на западе.

[2] Полемáрх — высшая военная должность в греческих государствах.

бодный? Попробуй их отличить, если они в одних и тех же лохмотьях. Знатные люди там не имеют власти, и всем распоряжаются бессовестные демагоги[1]. Но танцовщицы! Нигде нет лучших. Архин послал бы за ними сейчас же, если бы не непогода. Сейчас перевалы Киферона[2] занесены снегом, и через них не пройдет ни один проводник, хоть посули ему мешок с золотом.

— У Стрепсиáда жена дивно пляшет...— мечтательно сказал один из гостей.

— Она афинянка и прекрасна, как сама Афродита,— подхватил другой.

Архин тупо уставился на говоривших. Он припомнил, что Стрепсиад жил в Афинах и привез оттуда жену. А может быть, она и впрямь была танцовщицей?

— Эй, рабы! — прохрипел Архин.— Привести ее сюда!

Лишь пьяному могла прийти в голову эта дикая мысль. Какая женщина покинет ночью свой дом и согласится плясать перед чужими мужчинами?! Гостям надо было бы одернуть хозяина дома или подставить ему таз с холодной водой, чтобы он умылся. Вместо этого они заорали:

— Сюда ее! Сюда! Пусть спляшет!

Вот уже два года, как Архин с помощью спартанцев одержал победу над демократами и, изгнав многих из них за пределы Беотии, тиранически управлял Фивами. Каждое его слово было законом. Поэтому гости не сомневались, что и это приказание Архина будет выполнено.

И вдруг открылась дверь. В пиршественный зал вошел воин, охранявший вход в дом. Он что-то шепнул на ухо хозяину.

— Раб! Какой раб! — воскликнул Архин, непонимающе таращa глаза.

— Он только что прибыл из Афин и хочет видеть тебя по срочному делу.

Архин всплеснул руками и обратился к гостям, словно ища у них сочувствия.

---

[1] Демагóг — народный вождь. В устах противников демократии это слово приобрело презрительный смысл — болтун, обманщик — и сохранило его до наших дней.

[2] Киферóн — горный массив, отделяющий Беотию от Аттики

— Даже ночью не оставляют тебя в покое. И у всех срочные дела! Спишь ли ты или пируешь — им все равно. Вставай! Решай! И за это тебя называют тираном!.. Гони его в шею, этого раба! — закончил полемарх энергично.— Сегодня у меня праздник. Я никого не принимаю, кроме близких друзей. И танцовщиц. Понял?

— А может быть, пригласить и ее мужа? — нерешительно предложил кто-то из гостей, когда воин удалился.

— Зачем мужа? — сказал Архин, пошатнувшись.

— Чтобы ей не было скучно!

Полемарх помотал головой:

— Не надо мужа. Он не умеет плясать. Пригласим других женщин. У Харона тоже молодая жена, а сам он бежал в Афины, собака.

— И Неокл тоже скрылся, а жена его осталась здесь,— вспомнил один из олигархов [1].

Снова открылась дверь, и вошел воин.

— Раб из Афин написал тебе тут несколько слов,— сказал он, протягивая обрывок папируса.

— Разве тебе не ясно, что сегодня я делами не занимаюсь? — сказал Архин.— Положи на мой стол. До завтра.

Пожав плечами, воин выполнил приказание полемарха.

— А теперь,— сказал Архин, икая,— приведи сюда жен Стрепсиада, Ференина и Андроклида. И побыстрее!.. Что же ты стоишь, как истукан? Опять не понял? Пусть сюда придут жены! Я хочу, чтобы они сплясали перед этим столом.

— Да! Да! Сплясали! — подхватили гости.

* * *

Их было семеро в высоко подпоясанных плащах с капюшонами, с сетями и дротиками в руках. В полдень они вышли из Афин, на закате прошли через Фрию [2], направляясь к Киферону. Все принимали их за охотников.

---

[1] Олигáрхи — богачи, противники демократии в греческих государствах.

[2] Фри́я — город в Аттике.

На поросших дубняком склонах Киферона водились кабаны. И еще в древних преданиях рассказывалось о киферонских оленях.

Первым шагал мужественный Пелопид. Погруженный в раздумье, он низко склонил свою большую голову с коротко остриженными волосами. За ним шел Мелон, уже немолодой, с крупным носом на загорелом лице. Потом светловолосые и ясноглазые близнецы Мназипп и Десмот. За ними широкоплечий красавец Ференик, юный Дамоклид, тощий как жердь Андроклид. Семеро, и все равно что один. Все они были фиванцами, делившими в Афинах хлеб изгнания. Они покинули свою родину, когда власть захватили олигархи, поддерживаемые спартанцами.

Остались позади последние домики деревушки, проводившей спутников лаем собак. Дорога, повторявшая извивы горной реки, превратилась в узкую тропу. На ней не разойтись и двум мулам. С Киферона свирепо задул борей. Недаром еще с утра небо было затянуто свинцовыми тучами. В такую погоду охотники прячутся в какой-нибудь из пещер и разжигают костер. Эти же люди шли и шли. Скрипел песок под подошвами. Ветер надувал плащи и хлопал ими, как парусами.

Внезапно Пелопид остановился и сбросил с плеча сеть. Его примеру последовали другие.

— Ну и погодка! — сказал Андроклид, с тревогой взглянув на громаду горы, сливавшуюся с чернотою неба.

— Ее ниспослали сами боги для нашего дела,— молвил Мелон.

— Это первое испытание,— сказал Пелопид.— Если ночь принесет удачу, будут и другие походы. Нам придется идти много дней и ночей без отдыха, пока женщины Спарты не увидят дыма наших костров.

— Ого! Вот о чем ты мечтаешь,— сказал Ференик.— Нам достаточно и того, что мы изгоним спартанцев из Кадмеи.

— Нет, этого мало,— твердо произнес Пелопид.— Пока мы не разрушим змеиного гнезда, Эллада не будет знать мира и счастья.

И они снова двинулись в путь навстречу ледяному ветру и мраку.

Если бы кто мог взглянуть в лицо Пелопида, он прочел бы на нем тревогу и озабоченность. Может быть, Пелопид опасается, что он не отыщет во мраке дороги через перевал. Или его пугают будущие схватки со спартанцами, считавшимися непобедимыми воинами. Нет! Пелопид вспомнил о восьмом. Восьмым был Клитий, сын Феокла. Клитий, как и эти семеро, был изгнанником и вместе со всеми дал клятву освободить Фивы от олигархов — этих жалких прихвостней спартанцев. Он был посвящен в планы заговорщиков и знал о часе выступления, но не явился в назначенное место. Мелон, которому Пелопид поручил отыскать Клития, не застал его дома. Не оказалось и раба Клития — Сира. Может быть, Клитий стал жертвой наемного убийцы? Но куда исчез раб? А не убил ли он своего господина и скрылся, как это делают афинские рабы? Пелопид терялся в догадках, но он не мог и предположить, что Клитий струсил. Трус не покинул бы Фив и не ушел в изгнание. Он покорился бы олигархам.

Ветер, зажатый в скалах, набрал силу горной реки. Он мог столкнуть в пропасть и быка. Семеро шли, время от времени припадая к скалам, пережидая, когда стихнет порыв ветра. Тьма, окружавшая их, двигалась и бурлила. Может быть, это вырвались злые духи из киферонских пещер или Артемида[1], разгневанная тем, что смертные вошли в ее царство, мечет в них свои свистящие стрелы? Где-то здесь ее увидел Актеón, и богиня превратила охотника в оленя. Несчастного разорвали собственные собаки.

— Друзья! — вдруг послышался голос Дамоклида.— Вы слышите, там кто-то стонет?..

Все остановились и прислушались.

— Идемте,— сказал Мелон.— Это гудит ветер в меловых скалах. Идемте, нам надо прийти до рассвета.

— Нет, я слышу, кто-то стонет! — крикнул Пелопид.— Это человек. Он где-то близко. Здесь, внизу. Дайте мне конец веревки, я спущусь.

— Не делай этого, Пелопид,— молвил Андроклид.— Ты погибнешь. А мы без тебя не найдем дорогу в Фивы.

---

[1] **Артемида** — богиня охоты у древних греков.

— Дайте веревку, быстро! Там человек. Он нуждается в помощи,— взволнованно проговорил Пелопид.

И ему дали конец веревки. За другой ее конец взялись Мназипп и Десмот. Край веревки терся об острые камни. Веревка натянулась под тяжестью человеческого тела. Но не прошло и двух мгновений, как она ослабла. Видимо, Пелопид спустился на ровную площадку.

— Я его нашел,— послышалось снизу.— Он упал с тропы.

В это время на мгновение в разрыве туч показалась луна. Пелопид внизу вскрикнул как обожженный.

— Что с тобой, Пелопид? Отвечай? — забеспокоились друзья.

Пелопид молчал.

— Где ты, Пелопид? Отзовись!

— Я привяжу его. Тяните веревку. Только осторожнее,— послышался наконец голос Пелопида...— Хватайте, когда я крикну «раз!»... Раз!

Мназипп, Десмот и пришедший им на помощь Ференик стали вытягивать пострадавшего.

— Поосторожнее! Тут острые камни! — кричал снизу Пелопид.

Видимо, он сам поднимался рядом с человеком, привязанным к веревке, и поддерживал его тело.

— Погодите! — крикнул Пелопид.— Сейчас я поднимусь сам, потом вытащим его.

Пелопид подтянул свое тело и перевалил его на тропу. Он тяжело дышал.

— Тяните! — сказал он, хватаясь за веревку, чтобы помочь друзьям.

Голова человека показалась на краю обрыва. Глаза у него были закрыты. Губы сведены в мучительной гримасе.

— Клитий! — в один голос вскрикнули Мназипп и Десмот.

Да, это был Клитий. Но как он здесь оказался? Почему он не явился в назначенное место? Почему он решил идти в Фивы один, не дожидаясь друзей?

— У меня больна мать,— быстро проговорил Клитий, словно боясь этих вопросов.— Вчера мне снился дурной сон. Я видел ее на коне. А конь — к смерти.

— Почему ты нас не предупредил? — сурово спросил Пелопид.— Из-за тебя мы задержались.

— Как — не предупредил! — воскликнул Клитий, открывая глаза.— Я послал к вам своего раба Сира.

— Ты посвятил раба в наши планы? — с угрозой сказал Мелон.

— Твой раб к нам не приходил,— молвил Пелопид.

— Это был верный раб,— сказал Клитий.— Он вырос в доме моего отца. Правда, в последние месяцы я его плохо кормил. У меня не было денег.

— Ты хочешь сказать, что он сбежал? — недоверчиво произнес Ференик.

— Куда он убежит в это время года! — сказал Мелон.

— Друзья! — решительно произнес Пелопид.— У нас нет времени спорить, куда делся раб Клития. Нас ждут в Фивах. И мы не можем оставить здесь Клития одного.

— Не можем! — подтвердил Мелон.— Холод усиливается. Клитий замерзнет.

— Да! Да! — послышались голоса.— Мы не бросим его в беде.

— Обхвати мою шею, Клитий! — сказал Пелопид.— Я понесу тебя на спине.

— А когда ты устанешь, Клития понесу я,— подхватил Мелон.

— И мы тоже! — сказали в один голос Мназипп и Десмот.

И они двинулись в путь. Несмотря на холод, струйки пота стекали по лицу, груди и спине Пелопида. Руки Клития сдавливали горло. Трудно было дышать. С каким наслаждением Пелопид сбросил бы со спины этот груз и распрямил бы окаменевшие плечи! Но он знал, что Клитий должен быть спасен. Пусть он нарушил клятву и не явился, но ведь он сделал это из любви к матери. Пелопид готов был его понять. Он потерял свою мать, когда ему не было двенадцати лет. Но и теперь при воспоминании о ней сердце сжимала боль, и он едва сдерживал крик, вырывающийся откуда-то изнутри.

Потом Клития понес Мелон. Клитий начал стонать. Может быть, ему было нестерпимо больно, а может быть, он страдал оттого, что являлся для друзей обузой.



— Потерпи, Клитий...— шептал Мелон.— К рассвету мы будем в Фивах, и исклепиад займется тобою. У тебя, кажется, сломана нога. Это не страшно.

Но Клитий не умолкал. Его вопли сливались с завыванием ветра. Ветер все усиливался. Стал падать мокрый снег. Он бил людям в лицо. Ослеплял их. «Только не остановиться! Только не остановиться! — думал Мелон.— Если остановишься, не хватит сил идти дальше».

На занесенном снегом перевале живой груз принял Мназипп. Начался спуск. И стало еще холоднее. Киферон зимой задерживал теплые южные ветры. Согревала лишь мысль, что они на земле родной Беотии. Еще несколько часов ходьбы, и они будут в городе Кадма. Там их ждут вооруженные друзья. Эта ночь решит судьбу их отчизны, а может быть, и всей Эллады.

Мназиппа сменил Десмот. Затем Клития понесли

Ференик, Дамоклид и Андроклид. Вновь наступил черед Пелопида.

— Обхвати меня крепче, Клитий,— сказал Пелопид.— Скоро конец твоим мучениям.

— Опусти меня на землю, Пелопид,— глухо молвил Клитий.

— Потерпи, друг. Осталось еще немного.

— Нет, я хочу объясниться. Опусти меня.

Пелопид остановился и бережно опустил Клития на землю. Остановились и другие.

— Я обманул вас,— сказал Клитий.— Мне не снился конь. Мне снилось золото, которое обещал Архин. Два года я провел в нужде. Я больше не мог ждать. Мы вышли с Сиром на рассвете. Но боги были против меня. Я оступился и упал с тропы. Негодный раб мог меня спасти, но он рассудил, что, если явится один, полемарх даст ему свободу. Раб оставил меня и отправился в Фивы. Не идите дальше. Вас ждет там засада. Сир опередил вас. Он был налегке.

Несколько мгновений друзья молчали, потрясенные тем, что они услышали. Клитий — презренный предатель! Его прельстила награда, обещанная полемархом. Но, видимо, в нем пробудилась совесть, когда он увидел, что его не бросили те, кого он предал.

Мелон вынул кинжал и занес его над предателем, но Пелопид отстранил его руку.

— Смерть для него слишком легкая кара,— сказал он.— Пусть его судьбу решит народ.

Семеро сели в круг, повернувшись спиною к ветру. Восьмой лежал рядом и стонал от стыда и боли. Надо было решать, что делать. Возвращаться назад, когда до Фив осталось не более часа пути? Остаться здесь до рассвета? Или идти вперед?

— Друзья! — молвил Пелопид.— Два года мы готовились к схватке с врагами. Два года мы ждали этого дня. Можем ли мы отступить, когда цель так близка?

— Ты прав, Пелопид,— сказал Мелон.— Нам надо идти. Но перед городом мы отправим двух человек в разведку. Я уже немолод, но пойду первым.

— И я с тобою! — крикнул Ференик.

И они снова двинулись в путь, неся по очереди Клития.



* * *

Приоткрылась дверь. Пьяные олигархи захлопали в ладоши.

— Танцовщицы идут! Танцовщицы идут!

— Смотрите,— сказал Архин, икая,— я не бросаю слов на ветер. Сказано — и сделано.

Прикрываясь большой еловой веткой, в пиршественный зал вошел Пелопид. За ним следовали Мелон, Мназипп, Десмот, Ференик, Дамоклид и Андроклид. Они закрывали лица веерами, словно стыдливые женщины.

Подойдя к самому столу, Пелопид бросил ветвь и обнажил меч. Архин застыл с разинутым ртом.

— Умри, тиран! — сказал Пелопид, вонзая меч в грудь Архина.

Кровь хлынула на стол, залив остатки еды и смешавшись с вином.

Гости бросились к двери, но она была закрыта. Олигархи заметались по залу, как крысы в поисках щели. Но всюду их настигали удары. Через несколько мгновений все олигархи были связаны. По одному их выводили наружу, где их ждала разъяренная толпа фиванцев, собравшихся на зов заговорщиков. Им и предателю Клитию предстояло ответить за свои преступления.

Пелопид брезгливо переступил через труп Архина и подошел к столу, где лежал измятый клочок папируса. Он развернул его и пробежал глазами.

— Раб Клития опередил нас,— сказал он, улыбаясь.

— Он был налегке,— молвил Мелон.

— Но Архин пировал и не нашел времени, чтобы принять раба или хотя бы прочесть эту писульку.

— Воин, которого полемарх послал за моей женой, рассказал мне, как это произошло,— молвил Ференик.— Тиран не стал читать этой записки, а бросил ее на стол, сказав: «До завтра!»

— «До завтра»...— повторил Пелопид.— А завтра для них не наступило. Завтра — наше. Смотрите! Из-за моря встает солнце, освещая поля и горы нашей прекрасной родины. Слышите, как шумит толпа? Она требует смерти для олигархов и предателя. Люди натерпелись за эти годы. Их можно понять. Теперь всё позади. Распрямите плечи, друзья! Спартанцы еще в Кадмее, но недалек тот час, когда они покинут священную землю наших отцов. А потом и мы двинемся в Пелопоннес, чтобы освободить от спартанского ярма другие народы.

— И спартанские женщины увидят дым наших костров,— молвил Ференик на этот раз серьезно.

— Клянусь богами, увидят,— закончил Пелопид, поднимая кулак над головою.

## РАЗГОВОР С ОСЛОМ

Дверь медленно, как бы нехотя отворилась, выпустив на порог плотного невысокого человека лет сорока пяти. Лицо его измято сном, глаза округлы и красны, как у белого кролика.

— Что тебе надо? — спросил человек, зевая.

Надсмотрщик низко наклонил голову. Плеть заерзала у него в руке.

— Прости меня, Клеандр,— сказал он.— Я не знал, что ты отдыхаешь. Я...

— Ну, выкладывай! Что там стряслось? Опять скала обрушилась? Скольких придавило?

— Нет, не скала. Тебя какой-то чудак спрашивает,— быстро проговорил надсмотрщик.

— Может быть, рабов привез? — поинтересовался Клеандр.

— Нет, он один приехал.

— На лошадях?

— На осле. Осел его ревет во всю глотку. А он с ним, как с человеком, разговаривает: «Успокойся, мол, друг. Я сейчас с делами управлюсь, и домой двинемся».

— Почему же ты его сюда не привел, если у него ко мне дело есть?

— Говорит, на яму посмотреть надо. И я подумал: скажу хозяину. Может, соглядатай какой. Погоди... Да вот он сам идет. Видишь, большеголовый?

— Да ведь это Архимед! — воскликнул Клеандр.— И что ему здесь надо?

— Он из городского совета? — спросил надсмотрщик.

— Что ты! В совете ему делать нечего. Он и не богат. И голова у него дырявая.

— Дырявая?

— Однажды по главной улице нагишом пробежал,— сказал Клеандр, давясь от хохота.— Прямо из городской бани. «Эврика! Эврика!» — кричит. И что ты думаешь? Он клад нашел или отыскал способ разбогатеть? Какую-то задачу решил. Вот смеху-то было!

Человек, которого звали Архимедом, остановился и снял войлочную шляпу. Его высокий лоб обрамляли

густые седые волосы, а борода еще была черная. На широком лице выделялись большой нос и толстые губы. Глаза смотрели открыто. Все мысли и чувства отражались на лице, как в зеркале.

— Архимед! Тебя ли я вижу! — воскликнул Клеандр с деланным удивлением.— В такую жару пожаловал...

— Это неважно,— сказал Архимед, движением руки останавливая Клеандра.— Подойдем к яме. Я тебе все объясню.

Они стали на краю ямы. Так называли место разработки камня. Яма имела почти отвесные края. Только в одном месте наружу вела пологая дорога. Десятки полуобнаженных людей тянули канатами огромные квадры, подкладывая под них катки. Раздавались крики и ругань надсмотрщиков. Слышалось щелканье бичей.

— Этого я и ожидал! — быстро проговорил Архимед.— Чтобы поднять квадр наружу, его волокут по земле, преодолевая силу трения. Каждый квадр проделывает путь в две стадии. А не проще ли его поднять по воздуху? Ведь здесь не глубже тридцати локтей?

— Двадцать пять! — уточнил надсмотрщик.

— Подъемником, чертежи которого я привез, смогут управлять трое. Они поднимут за один день вдвое больше квадров, чем сотня этих несчастных, которых твои люди погоняют бичами, как скот.

— Трое...— протянул Клеандр.— А куда я дену остальных?

Архимед на мгновение задумался. Его высокий лоб перерезали морщины и сошлись у переносицы.

— Остальные будут обтачивать камни. Инструменты, которыми работают невольники, никуда не годны. Я это понял сразу. Надо сделать точило в виде гончарного круга. И еще: камни надо не откалывать, а взрывать.

— Как ты сказал? Взрывать?

— Я вижу, тебе моя идея кажется нереальной...— сказал Архимед.— Но ведь ты слышал о Ганнибале?

— Ганнибале? — еще более удивился Клеандр.— Но при чем тут ломка камней?

— Я тебе напомню, почтенный, что во время перехода через Альпы огромные камни преградили дорогу карфагенянам. И если бы у Ганнибала не было бы взрывчатой смеси — невежды называют ее уксусом,— римляне

не пережили бы Канн. Мне известен состав этой смеси. С ее помощью ты сможешь облегчить труд работников.

— «Облегчить труд»! — Клеандр выпучил глаза.— Ты хочешь облегчить труд рабов? Да ведь с тех пор, как существует Латомия, единственной заботой было сделать их жизнь более тяжелой. Другое дело свободные люди...

— У тебя работают и свободные?

— Видишь ли,— сказал он, постаравшись придать своему лицу серьезное выражение,— я вовсе не противник усовершенствований. Со своим умом и знаниями ты мог бы оказать большую пользу нашим каменоломням. Изобрести машину, которая облегчит труд надсмотрщиков.

— Надсмотрщиков?! — удивился Архимед.

— Конечно,— так же невозмутимо продолжал Клеандр.— Эти несчастные целый день жарятся на солнце. У них нет ни минуты отдыха. Целый день они машут плетью и чешут рабам хребет. Создай машину, которая порола бы ленивых рабов, и тогда выработка увеличится не в три, а в пять раз.

Архимед покраснел. Он понял, что над ним смеются, и ему, казалось, было стыдно за этого человека. Резко повернувшись, ученый зашагал к своему ослу.

— Куда же ты уходишь, Архимед? — кричал ему вдогонку Клеандр.— На этой машине ты сможешь разбогатеть. Ее приобретет каждый хозяин.

Но Архимед шел не оглядываясь. Подойдя к ослику, он поправил попону и сел боком. Ноги его в сандалиях с матерчатыми завязками почти задевали землю. Ослик медленно тронулся, уныло покачивая головой. Архимед положил руку на голову животного и обратился к нему:

— Мой четвероногий друг! Ты прослыл самым глупым среди зверей и высмеян баснописцами. Но, клянусь Гераклом, твой хозяин не умнее тебя, а может быть, не менее упрям. Помнишь нашу поездку в гавань? Тогда тебя напугал слон, спускавшийся с корабля по сходням. Конечно, это простительно. Ты никогда ни видел боевого слона и, наверное, решил, что это какой-то уродливый осел непомерного роста. Каждый осел обо всем судит по себе.



Словно в ответ на эти слова ослик закрутил головой и засопел.

— Тогда я носился с машиной, которая приводит в движение весла,— продолжал Архимед.— Это было лучшее из моих изобретений. Но ему не суждено было осуществиться. Корабельщики высмеяли меня. «Куда мы денем гребцов? — сказали они.— Рыбам на корм?» А помнишь мельницу, где твои собратья, белые от мучной пыли, крутили тяжелый каменный жернов? На глазах у них были повязки, чтобы им казалось, будто они идут вперед, а не движутся по проклятому кругу. Тогда я еще подумал, что глаза людям застилает такая же пелена и они крутятся на одном месте, не видя ничего впереди. Моя механическая мельница был отвергнута. Меня приняли за сумасшедшего... Иди, Хрис, иди! Ты мой старый друг. Не удивительно, что всего умнее бываю я с тобою... Я продолжал надеяться, что мои машины найдут применение. И вот мы в Латомии. Разве не странно, что в нескольких стадиях от моего дома добывают ка-

мень так, как это делали тысячу лет назад? Я думал, что эти люди не читали моих книг о механике, что им неизвестны блок и рычаг, и поэтому работают по старинке. Оказалось, что они боятся всякой новизны. Но я не считаю, что бесцельно провел сегодняшний день. Я имел возможность поразмыслить и поговорить с тобою. Правда, я подозреваю, что ты не все понял из моих слов. Но благодаря твоему вниманию я сумел сформулировать свою мысль. А это не так уж мало.

Если бы Архимед не был бы так занят своими размышлениями, он, наверное, обратил внимание на царившее в городе необычное оживление. Люди стояли кучками и о чем-то говорили вполголоса. К городским воротам прошли воины с копьями на плечах. Слышалось ржание, топот, понукание. Рабы нагружали возы господским добром. Встревоженно хлопали крыльями петухи. Лаяли собаки.

У дома Архимеда стояла толпа. Выделялись фиолетовые плащи членов Булэ. На многих были рабочие фартуки.

— Архимед,— слышались голоса,— помоги нам, Архимед...

— Кому понадобилась моя помощь? — спросил Архимед, слезая с осла.

— Твоему отечеству! — ответил один из советников.— Тебе разве не известно, что на город движется римское войско? Ты один можешь спасти нас.

— У меня только две руки,— сказал Архимед.— И я стар для того, чтобы сражаться в строю.

— Нам не нужны твои руки,— сказал советник.— Нам нужен твой ум.

— Почему же вы ко мне не обратились раньше? Я бы помог вам избежать войны.

— Теперь уже поздно об этом говорить,— проговорил нетерпеливо советник.— Мы должны сражаться или станем рабами. Нам стало известно, что ты предлагал машину для поднятия огромных камней. Но эта машина сможет и бросать камни на врагов. Тебе известен секрет взрывчатой смеси. Он заменит тысячи рук. Эти люди пришли, чтобы работать. Они сделают все, что ты прикажешь. Приходи на агору. Они будут тебя ждать.

— Вот видишь...— сказал Архимед, заводя осла в конюшню.— Отечество вспомнило о нас. Над нами уже никто не потешается. Если я создам машины, от которых раньше отказывались, они наградят нас лавровым венком. Если мы победим, нам поставят памятник. Мраморный Архимед будет величественно восседать на мраморном осле. Ты войдешь в историю, как до тебя вошел в нее Буцефал — конь Александра; как прославилась волчица, вскормившая Ромула и Рема.

## БЕЗУМНЫЙ

В то утро в Канфаре[1] было необычно пустынно. Всю ночь бушевала буря, и все, кормившиеся у кораблей, отчаявшись получить работу, разошлись по домам. Только один страж, проклиная непогоду, остался на пристани. Он и был единственным, кто встретил триеру и принял брошенный ему канат. Накинув петлю на каменный столбик и крепко затянув ее, страж повернулся спиной к ветру, достал из сумки лепешку и начал жевать.

По трапу, балансируя руками, спускался человек в развевающемся плаще. Судя по одежде, чужеземец был финикийцем или египтянином. Вытянутое лицо с тонким носом окаймляла квадратная черная борода. Сойдя на землю, человек запрокинул голову и пробормотал несколько слов, видимо молитву богам.

Обернувшись к стражу, он сказал с заметным акцентом:

— Ну и погода! Море играло с нами, как кот с мышью. Могу поклясться, что это не Милет.

— Это Пирей! — откликнулся страж, продолжая жевать.

Он уже привык к шуткам Посейдона и относился с философским спокойствием ко всем бедам, какие приносило людям море. Попасть вместо Милета в Пирей! Это еще не так плохо. Другие попали на корм рыбам.

[1] Канфáр — торговая гавань Пирéя.

Справа из-за накрытой рогожами груды амфор послышался шум. К кораблю бежал какой-то человек в коротком хитоне. Ветер раздувал его седые космы. Остановившись в нескольких шагах от того места, где сидел страж, он прижал руку к груди и с достоинством поклонился чужеземцу.

— Слава богам,— сказал он глуховатым голосом.— Я вас ждал еще вчера. Не спал всю ночь и задремал к утру. Вот и не встретил первым.

— Ты нас ждал?! — удивленно воскликнул чужеземец.— Но ведь мы плыли в Милет...

— О! Я жду всех, кто в море,— перебил незнакомец.— Я жду и приношу жертвы богам. Разве ты этого не знаешь? Я хозяин гавани. Месяц я носил траур по пентере, разбитой близ Суния. Сегодня его сниму. Какое счастье! Вы спаслись! — Он повернул голову. Глаза его радостно блеснули.— Смотри! — воскликнул он.— Видишь, вон там!

В заливе едва виднелся парус. Он то исчезал, закрываемый волнами, то снова появлялся, как поплавок во время клева.

— Мой корабль! — воскликнул седоволосый.— Это мой корабль! Боги, спасите его!

— У тебя есть еще и корабль? — удивленно протянул чужеземец.

Но его собеседник, казалось, больше ничего не слышал. Он был всецело поглощен новым зрелищем. Вытянув шею, он смотрел, как парус борется с волнами и ветром. Выражение восторга на его лице чередовалось с испугом и отчаянием. Казалось, у него в жизни ничего не оставалось, кроме этого корабля, и, приключись с ним беда, он с горя бросится в море.

Волнение передалось чужеземцу. Он тоже забыл обо всем и до боли в глазах следил за схваткой корабля со стихией. И только тогда, когда судно скрылось за мысом, чужеземец оглянулся. Странный незнакомец исчез.

Страж, видимо, прочитал на лице чужеземца удивление.

— Ты его ищешь? — спросил он, сплевывая сквозь зубы.

Чужеземец утвердительно кивнул головой.

— Теперь его не догонишь. Бегает быстрее зайца. Смотри, побежал к Фалеру[1]. Ему надо первому встретить корабль.

Страж расхохотался.

— Что тут смешного? — сказал чужеземец, пожимая плечами.— Человек радуется, что спасся его корабль.

— «Его корабль»! — еще громче расхохотался матрос.— Да на нем и хитон с чужого плеча...

— Значит, он не хозяин гавани?

— Хозяином гавани его прозвали в шутку, за то что он встречает все корабли и снова посылает их в плавание, словно они принадлежат ему. Здесь к нему уже привыкли. Кто накормит, а кто и вина поднесет. Хотя он и рассудком тронулся, но гордый. Сам никогда не попросит, а если берет подаяние, словно одолжение делает.

— А как его настоящее имя?

— Кто его знает...— ответил матрос.

Чужеземец отошел в сторону. Между бровями у него появилась складка — след раздумья.

Неделю назад тяжело заболел его отец. У смертного ложа собрались домашние. Слабым голосом умирающий подозвал к себе сына.

«Малх! — сказал он, с трудом приподнимая голову.— Мне надо с тобой поговорить. Пусть все уйдут!»

Когда они остались одни, Малх узнал, что человек, которого он всю жизнь считал отцом, вовсе ему не отец. Двадцать лет назад во время бури о скалы Тира разбился эллинский корабль. Море всю ночь выбрасывало на берег обломки, а утром рыбак увидел среди обломков мертвеца и рядом с ним ребенка лет трех. Ребенок был невредим. Он весело улыбался и протягивал к рыбаку свои ручонки. Рыбак взял мальчика. Боги не дали ему детей. И Малх — так назвали найденыша — стал единственным сыном и наследником рыбака Хирама.

Когда рыбак вернулся на то место, где подобрал мальчика, он, к своему удивлению, увидел, что человек, которого он считал мертвецом, жив. Он сидел на берегу моря и протягивал к волнам руки. Рыбак понял, что

[1] Фалéр — старая гавань Афин.



несчастный искал своего мальчика. Как он кричал! Так могут кричать только безумные! Наверное, он ударился головою о камни. Или он сошел с ума от горя. Рыбак не вернул ребенка. Да и что с ним бы стал делать безумный? Рыбак никому не сказал, что он взял мальчика.

Для этого имелась веская причина. В обломках кораблекрушения он отыскал увесистый кожаный мешочек с плоскими серебряными монетами — целое состояние для нищего рыбака. Может быть, это были деньги несчастного отца, или они принадлежали одному из тех, кто нашел смерть в волнах. Хирам не опасался, что кто-нибудь потребует у него его добычу. Более того, он считал справедливым, что деньги достались именно ему. Ведь он взял ребенка, а на воспитание нужны средства. Хирам предпочитал скрывать свою находку, потому что опасался зависти соседей. Чтобы скрыть источник своего внезапного обогащения, он переехал с семьей в другое место и там занялся новым промыслом — ловлей багрянок.

Это было все, что узнал Малх о своем происхождении от человека, которого считал своим отцом. Отправившись в рыбачью деревушку под Тиром, он еще выяснил, что корабль, разбившийся в ту ночь, принадлежал некоему Трассилу из Милета. Но был ли безумный, о котором рассказывал Хирам, владельцем корабля? Или он просто пассажир? Все это можно узнать лишь в Милете. И надо же: вместо Милета он попадает к берегам Аттики, в Пирей!

Встреча на берегу еще больше расстроила Малха. «Может быть, и мой отец скитается где-нибудь, как этот несчастный? — думал Малх.— Если он даже у себя на родине, никто не помнит его имени. Ведь с тех пор прошло двадцать лет. И какое это странное безумие — встречать корабли!»

* * *

Повреждения, нанесенные судну бурей, оказались серьезными. Пришлось задержаться на несколько дней. Пока матросы ставили новую мачту взамен треснувшей и чинили паруса, Малх знакомился с Пиреем. Здесь все было для него ново: и улицы, построенные словно по линейке, и обрамленная колоннадами портиков Гипподамия — так называли главную площадь этого портового города. Шумная толпа, наполняющая улицы, спорит на разных языках. Кого здесь только не встретишь! И скифа в кожаных штанах, и длинноволосого перса в одежде до пят, и темнокожего обитателя болот, откуда вытекает Нил, и голубоглазых рыжеволосых варваров с берегов Внешнего моря. И какие только товары не выставлены в Дигме приезжими купцами! В этом городе есть все, чем богаты четыре страны света. Но еще больше, чем Пирей, Малха поразили Афины. Храмы, соперничающие своей красотой с самой природой, обилие великолепных статуй и картин, цветущие сады. Все это заставило Малха позабыть о взволновавшей его встрече.

Но случай вновь столкнул его с безумным. Это было поздно вечером, когда он возвращался из Афин. Безумный брел по середине улицы. Его длинные ноги заплетались. Малх прижался к стене. Почему-то ему захотелось остаться незамеченным. Но предосторожности

были излишни. Взор безумного устремлен к морю. Несчастный вглядывался в даль. Теперь Малх знал, что он ищет корабль. Море пустынно. Безумный повернулся и зашагал по улице, ведущей к храму Артемиды. Длинная тень тянулась за ним, ломаясь на синевато-бледных стенах. В призрачном лунном свете город казался как бы погруженным в воду, на морское дно. И какое-то странное чувство охватило Малха. Ему почудилось, что когда-то он уже видел эти дома с черепичными кровлями, эти вытянутые на перекрестках гермы, но что это было очень давно, в какой-то другой, лежащей за гранью его памяти жизни, словно во сне... И безумный, бредущий неведомо куда, был тоже из невозвратно потерянного прошлого, из царства сна. Малх, охваченный этим странным ощущением, побрел за безумным, забыв, что сходни на корабле могут поднять и тогда придется провести ночь на голой земле.

Он шел и слышал лишь шаги — шаги в гулком молчании ночи. Они отдавались в его груди, как гудение корабельного колокола, сзывающего всех на палубу в бурю. Малх шел, не замечая времени, не чувствуя усталости. Безумный ни разу не оглянулся. Словно он принимал Малха за тень и не слышал ни его шагов, ни его дыхания. У маленького домика на окраине Пирея безумный остановился и, внезапно обернувшись, сказал:

— Зачем ты за мною идешь? Мальчик мой еще спит. Ты можешь его разбудить.

Малх молчал. Боги отняли дар речи. «Значит, он видел, что я за ним иду...— пронеслось у него в мозгу.— И он не одинок. У него сын».

— Что же ты молчишь? — продолжал безумный.— У тебя нет дома. Пойдем, я дам тебе свою постель.

Безумный открыл низкую дверь и, согнувшись, вошел внутрь. Малх последовал за ним. В доме, видимо, не было светильников. Но одна из стен комнаты — та, которая вела в садик,— имела проем, закрытый какой-то тканью. Лунный свет проникал через ткань и падал на кучу тряпья в углу, на высокий деревянный сундук, видимо служивший также и ложем, и на детскую колыбельку.

Безумный наклонился над колыбелькой и что-то бережно поправил.

— Смотри, как разметался... Подушечка жестка. Надо набить пухом.

Малх подошел ближе и увйдел, что колыбелька пуста, совершенно пуста. Ему стало страшно. Какая-то сила метнула его к двери. Он бежал, не разбирая дороги, наталкиваясь на стены домов, вставал и вновь бежал.

Малх провел остаток ночи в гавани Пирея. Он то садился на разбросанные там и здесь камни, то ходил из стороны в сторону, сжимая ладонями виски. Мысли его скакали, и он был бессилен сладить с ними. Ему вспомнилось и детство, обстановка дома, в котором он вырос. Но странно: за всем этим хорошо знакомым вставало что-то еще словно в тумане, словно привычные картины написаны на другом, смутном, полустершемся изображении. Он вспоминал, с какой нежностью несчастный обращался к своему несуществующему ребенку. Несуществующему? А может быть, ребенок существовал или где-нибудь существует, только он уже вырос, а в больной памяти остался все тем же. Для несчастного время остановилось на какой-то точке, с которой началось безумие. Эту точку сознание пока не в силах перейти. Но ведь оно может вернуться к тому, что было прежде, если только восстановить последний момент катастрофы.

Жители Пирея были немало удивлены, когда прошел слух о незнакомце, скупающем обломки. За каждую доску он платил по оболу.

Зачем они были ему нужны? Говорили, что он хочет построить из них новую триеру. Но обломки, приобретенные им, никуда не годны. А за эти деньги можно купить крепкие доски. Может быть, в гавани Пирея появился еще один безумный? Безумие ведь заразительно. А чужеземца и хозяина гавани часто видели вместе. Чужеземец сопровождал безумного в его странствиях и вместе с ним встречал и провожал корабли. Замечали, что он заботится о несчастном, дает ему еду, следит за тем, чтобы в холодные дни на нем были плащ и шляпа. Безумный принимает заботы как должное, но со своим покровителем никогда не разговаривает и, кажется, даже не слышит, о чем тот его спрашивает.

Однажды они вышли вместе из хижины безумного, направляясь к Фалеру. Соседу удалось подслушать

только обрывок фразы, с которой чужеземец обратился к несчастному:

— Это большой корабль, ветер загнал его на камни.

Сосед без труда догадался, что речь идет о каком-то кораблекрушении и что чужеземец специально пришел за безумным, чтобы повести его туда, где случилось несчастье. Ему захотелось пойти вслед за ними. Но ветер дул с такой силой, что легко охладил его пыл и заставил остаться дома. Наутро же сосед узнал, что никакого кораблекрушения в заливе не было. Это его удивило.

Он стал искать хозяина гавани и только через несколько дней выяснил, что чужеземец увез безумного на своем корабле. О том, как это произошло, говорили поразному. Свидетелем происшедшего был лишь один страж, а остальные передавали его рассказ, добавляя многое от себя. Вот что рассказал страж:

— Было уже позднее время. В гавани никого. Они идут. Здесь остановились, и чернобородый дал хозяину амфору. Тот выпил. Походил немного. И, вижу, у хозяина голова набок. Прилег он у мешков с зерном и заснул. Чернобородый покрутился возле спящего, потом поднял его и понес к тем обломкам, которые скупал. Положил его у самого моря, накрыл его своим гиматием и ждет. А чего ждет? Ветрено. Море разгулялось. Другой бы его куда-нибудь дальше отнес от ветра. Это я тогда подумал. Мне все равно до утра сидеть. О чем хочешь думай, только в сторону не отходи. Конечно, можно и отойти, если никого нет. Но куда мне идти? А смотреть на них интересно, как в театре. Хозяин гавани спит, а чернобородый вокруг него ходит. Волнуется. Еще не развиднелось, как хозяин проснулся, поднял голову. А чернобородый бормочет, куда-то показывает, будто потерял чего. Вдруг хозяин гавани как закричит во всю глотку, каждое слово слышно: «Отдай моего сына, Трассил! Отдай! Я заплатил тебе за дорогу от Милета. Разве я виноват, что Посейдон послал бурю?» И тут чернобородый как бросится к хозяину и ну его целовать. «Отец мой! — кричит.— Обними меня! Я твой сын». А хозяин гавани головой мотает. Не признает. Но чернобородый его обнимает, на корабль свой тащит. В то же утро они уплыли. И пусто у нас стало. Корабли приходят и уходят, а нет, чтобы их кто-нибудь встретил

без корысти, от чистого сердца. Никто не ждет, не волнуется. Каждый о своем добре печется. А у него, у хозяина, и хитон с чужого плеча, а сердце за всех болело. И никакой он не безумный. Просто душевный. В других городах таких людей не видывали. А у нас жил — не ценили. Вот и увезли.

## БЕЛАЯ ЛАНЬ

Нет, это не видение, не призрак. Белая лань, перебирая ногами, тонкими, как струны у кифары, спустилась со скалы. Ее не пугали вооруженные люди и кони. Она повернула к Серто́рию свою прекрасную голову. Почему она выбрала именно его? Может быть, ее привлекли необычные волосы цвета выгоревшей на солнце соломы или черная повязка, закрывающая правый глаз?

Все стояли как завороженные, боясь пошевелиться.

Один лишь Серторий вел себя так, словно ничего не произошло. Он шел навстречу лани. Его правая рука опустилась на стройную шею животного. И, если бы не подбежал Перпе́рна, Серторий мог бы прижать к груди голову с кроткими изумленными глазами... В несколько прыжков лань достигла скалы и исчезла, как белое облачко в голубизне неба.

Перперна улыбался,— может быть, он хотел скрыть свое удивление: слыхано ли, чтобы пугливая лань подходила к человеку! Улыбка была изящной, вежливой, тонкой, как весь облик этого уже немолодого человека. Но в больших, неестественно выгнутых ноздрях что-то волчье, звериное. «Лю́дям с такими ноздрями не доверяй!» — наставляла Сертория мать, когда он еще жил в своей тихой, затерянной в горах Нурсии [1].

— Вот ты и отмечен вниманием Дианы [2],— сказал Перперна.

Серторий почувствовал в тоне едва заметную иро-

---

[1] Ну́рсия — городок в горной области сабинян, к юго-востоку от Рима, откуда был родом герой этого рассказа, выдающийся римский полководец Квинт Серторий (123—72 гг. до н. э.).

[2] Диа́на — римская богиня охоты; часто изображалась в сопровождении оленя.



нию. И это заставило его удержаться от объяснений, которые он готов был дать своему новому союзнику. «Пусть это останется моей маленькой тайной,— подумал Серторий.— Ведь я никому еще не рассказывал о лани. Мне еще надо приглядеться к Перперне. Что я знаю о нем? Он знатного рода, богат, как Крез, и поэтому попал в проскрипционные списки [1]. По своей ли воле он присоединился ко мне или его заставили сделать это воины?»

Занятый своими мыслями, Серторий не заметил, какое впечатление произвело появление белой лани на сопровождавших его иберов. Только когда Перперна толкнул его, воскликнув: «Смотри!» — Серторий оглянулся. Иберы стояли на коленях в молитвенных позах. Многие протягивали к нему руки, словно он был богом.

— Что с ними? — спросил Перперна. Глаза были ши-

[1] Проскрипцио́нные списки — списки лиц, объявленных вне закона. Каждый мог убить человека, имя которого было упомянуто в этих списках. Проскрипционные списки Суллы, которые тут имеются в виду (82 г. до н. э.), содержали не только имена политических противников жестокого диктатора — марианцев, но и просто богачей, чьим имуществом хотел завладеть Сулла.

роко раскрыты.— Почему они стоят на коленях? Мне говорили, что иберы самый гордый народ на земле.

Несколько мгновений Серторий молчал, видимо не находя ответа. Потом его словно осенило.

— Ты новичок в этой стране,— сказал он, широко улыбаясь.— Тебе, наверное, неизвестно имя Вириата[1]. Во многих битвах этот простой пастух разбивал наших полководцев. И он всегда появлялся с белой ланью.

Не успел Серторий закончить, как бородатый ибер с медными латами поверх плаща встал и медленно подошел к нему.

— Веди нас, римлянин,— сказал он.

Серторий знал этого человека. Это был Летан — вождь лузитанов[2]. Во всей римской провинции не было племени более враждебного Риму, чем лузитаны. И Вириат тоже был лузитаном.

— Веди нас, Серторий,— повторил Летан.— И считай, что мы твои побратимы.

Серторий гордо поднял голову. Всего лишь несколько мгновений назад он не мог об этом и мечтать! Теперь он имеет сильных и надежных союзников. Он знал, что у иберов нет ничего крепче уз, связывающих побратимов. Если случалось, что вождь погибал, они мстили за него не только убийцам, но и их семьям, а потом сами убивали себя на могиле вождя.

«Летан и другие иберы пришли ко мне, чтобы я снял с них подати,— думал Серторий.— Они хитры, эти варвары, и ловко пользуются тем, что провинция в руках враждующих, воюющих друг против друга полководцев. Если бы я не снял с них подати, они обратились бы к Метеллу и Помпею[3]. Они бы могли перейти на сторону сулланцев. А теперь они привязаны ко мне навсегда. Белая лань заставила их сделать выбор. Моя белая лань!»

---

[1] Вириа́т — национальный герой испанских племен. В 147—139 гг. до н. э. вел войну против римлян.

[2] Лузита́ны — иберийское племя, обитавшее на атлантическом побережье Пиренейского полуострова; предки португальцев.

[3] Мете́лл и Помпей — римские полководцы, посланные в римскую провинцию Испанию сенатом. Они вели войну против Сертория, не подчинившегося сенату и объявленного вне закона.

* * *

Тот день многое изменил в Испании. Тогда было покончено с заложничеством. Заложниками называли сыновей знатных иберов, содержавшихся в лагерях римлян в качестве залога верности их отцов. Если отцы поднимали оружие против Рима, казнили ни в чем не повинных детей. Серторий объявил, что прежние заложники становятся учениками греко-римской школы.

Школа была открыта в Оске[1], маленьком городишке, ставшем резиденцией Сертория. На открытие школы собрались вожди многих племен, населяющих эту огромную страну, ученики и римляне. Взрослые иберы были в одеждах, какие испокон веков носили их предки; дети — в белых тогах с пурпурной каймой, римских сандалиях с кожаными завязками.

Дети всегда остаются детьми, живут ли они в Риме или в глухих селениях. Все новое им кажется чудесным. Они еще никогда не видели таких дощечек, смазанных воском. Разве это не удивительно, что на воске можно писать заостренной палочкой, что с помощью значков можно передать все, что тебе придет в голову! А как приятно ощущать на себе эту белоснежную одежду! Им уже объявили, что ее надевают только в школе. В ней ведь неудобно бегать, прыгать, карабкаться по скалам, стрелять из лука! А сколько новых лиц! У стены с тростью в руках стоит человек, который будет их учить всему тому, чему учат маленьких эллинов или римлян. Какие у него строгие глаза! Дети уже знают, что их учитель — эллин из Масса́лии[2] и зовут его Клеархом. А воин в сверкающих серебряных латах — сам Серторий! Сколько они слышали об этом римлянине! Нет, их не пугает черная повязка на его лице. Все знают, что Сертория нечего бояться, что он друг иберов.

Серторий поднес руку к своему лицу. Долгим взглядом смотрел он на золотое сердечко — буллу, лежащую на ладони, и ему казалось, что в сиянии золотых лучей встает его далекое детство. Вот он, мальчик в тоге с

---

[1] Оска — древнее название испанского города Уэска.
[2] Масса́лия — греческая колония в Южной Галлии, основанная в 600 г. до н. э.; теперь Марсель.

красной каемкой, шагает к форуму. Веснушчатое лицо в синяках и ссадинах от вчерашней драки, но на душе удивительно светло и радостно. Еще бы! Он вышел победителем. Городок просыпается. Заливисто кричат петухи. Мальчик обеими руками прижимает к себе коробку с церами[1]. На груди у него, под туникой,— булла, заботливо повешенная материнской рукой... Неумолимое время вымывает из памяти образ матери, черточку за черточкой. Серторий уже не может припомнить, какие у матери волосы — черные или каштановые. Прямой ли нос, как у сабинянок, или с горбинкой, как у гречанок. В памяти остались одни глаза. В них столько ласки и нежности, столько тревоги и любви. У матери — глаза лани.

«Рея[2],—думал Серторий,— моя Рея Сильвия! И тебя лишили сыновей. Брат погиб, а я уже десять лет в изгнании. Смогу ли прижаться к твоей груди! Или меня примет жестокая земля чужбины? У меня нет семьи, родины. Эту буллу я подарю не сыну, а маленькому варвару, которого зовут Индигилом. Он племянник моего побратима Летана».

— Подойди ко мне, Индигил,— стряхнув задумчивость, сказал Серторий на лузитанском наречии.— Надень эту вещь на шею и не снимай, пока не станешь взрослым и не сможешь принести ее в жертву богам. Это золотое сердечко называется буллой. Его носят маленькие римляне.

— Булла,— тихо повторил мальчик.

— Булла,— послышались голоса детей.

— Булла,— громко произнесли взрослые иберы.

Они с гордостью смотрели на своих сыновей. Их дети во всем будут похожи на римлян!

Серторий протянул руку. Он отдавал не только буллу. Он отдавал свое сердце. Нет, он не бросит на произвол судьбы этих суровых и мужественных людей. Он не позволит, чтобы их города и селения грабили сул-

---

[1] Це́ры — восковые таблички.

[2] Ре́я — имя матери Сертория, удостоверенное источниками. Любовь к матери Серторий пронес через всю свою жизнь. Рея Сильвия — легендарный персонаж, мать близнецов Ромула и Рема. Близнецы, согласно легенде, были отняты у матери и брошены в Тибр.

ланцы. В этом городке, напоминающем ему родную Нурсию, он создаст сенат. А мальчики, когда вырастут, станут военачальниками, писцами, сборщиками налогов. Они научатся управлять своей страной. Испания будет не римской провинцией, добычей алчных наместников, а верной союзницей Рима.

* * *

Шли дни. Главной заботой Сертория было войско. Перперна привел к нему пятьдесят три когорты римских легионеров. Но у Метелла и Помпея не менее ста когорт. Поэтому Серторий набрал в войско иберов. Иберы и раньше служили в римской армии, составляя нерегулярные отряды. Серторий же задался, казалось, невыполнимой задачей. Он хотел превратить своевольных и безрассудных варваров в стойких римских легионеров. Но как показать иберам преимущества римской дисциплины? Как приучить их к планомерным действиям? Ведь не посадишь их всех на скамьи школы в Оске! А если превратить само войско в школу?

Однажды перед выстроенными на смотр иберийскими воинами показалась странная процессия. Ибер, огромного роста и могучего телосложения, вел на узде лошаденку с выпиравшими от худобы ребрами, настоящую клячу. Другой, маленький человечек в одежде римского легионера, вел статного, могучего коня.

По знаку Сертория трубачи подняли трубы, и раздался уже знакомый варварам сигнал: «Внимание!» Тотчас же силач обеими руками схватил свою лошаденку за хвост и стал тянуть изо всей силы. Маленький, щуплый римлянин между тем начал выдергивать волосы из хвоста своего великана. Выдернув волос, он показывал его, словно для того, чтобы все могли убедиться, что он вырвал только один волос. Огромный ибер, напрягая все силы, по-прежнему тянул хвост своей клячи. Но вскоре под хохот воинов оставил свое бесплодное дело, а немощный его соперник без особого труда выщипал хвост у своего коня. Таков был наглядный урок, преподанный иберам: сила — в сплоченности.

Приучая иберов к военному строю и римскому оружию, Серторий вынужден был быть снисходительным

к их слабостям. Иберийские варвары, как дети, любили все яркое и блестящее. Серторий разрешил им украсить свои щиты и шлемы серебром и золотом. Он смотрел сквозь пальцы на то, что плащи и туники воинов были самых ярких расцветок. Но он был неумолим ко всему, что могло подорвать дисциплину и ослабить боевой дух. Серторий сам не пил вина и не выносил пьянства. Стоило ему заметить, что кто-нибудь из воинов не твердо держится на ногах, как он его наказывал, лишал наград. Если провинившийся не исправлялся, его безжалостно изгоняли из войска.

Воины Сертория привыкли довольствоваться самой скудной и грубой пищей. Им были не страшны дальние многодневные переходы по бездорожью, в горах. Они спали на голой земле, не разжигая костров и не разбивая палаток. Сам Серторий наравне со всеми нес тяготы походной жизни. Он мог проводить на коне несколько дней подряд, в любое время года мылся в студеной воде горных рек; в отличие от Перперны и других своих подчиненных обходился без раба.

Все тело Сертория было в рубцах от ран. И он гордился ими более, чем фалерами, шейными цепями и даже травяной короной[1], полученной еще в юности за спасение войска от гибели. Шрам на плече мог напомнить о битве при Араузионе[2]; после этой битвы раненый Серторий переплыл на щите бурный Родан[3]. Шрамы на груди остались от схваток с лузитанами — могущественнейшим из испанских племен. Шрам на лице и черная повязка, закрывавшая глаз, придавали Серторию сходство с Ганнибалом, здесь же, в Испании, вступившим на дорогу бессмертной славы. Многие называли Сертория вторым Ганнибалом. Но Серторию было труднее, чем великому карфагенянину. Ему неоткуда было ждать помощи. У него не было ни боевых слонов, ни нумидийской конницы. Родина не помогала ему, а вы-

---

[1] Травяная корона — высшая воинская награда римлян. Она сплеталась из той травы, которая росла на месте, где было спасено от уничтожения войско.

[2] Под Араузио́ном (105 г. до н. э.) римская армия устроила засаду вторгшимся в Галлию кимврам и тевтонам, но сама попала в ловушку и была почти полностью уничтожена.

[3] Ро́дан — древнее название реки Роны.

сылала против него легионы, возглавляемые полководцами из враждебной, сулланской партии. К тому времени, когда в Риме был совершен государственный переворот, Серторий находился в Испании, управляя ею в качестве наместника. Он не признал нового правительства и отказался уступить ему власть над провинцией.

Одну победу за другой одерживал Серторий над сулланскими полководцами в Испании. Помпей, носивший громкое имя Великий, был по сравнению с Серторием щенком. Другой сулланец, Метелл (Серторий называл его презрительно «старухой»), отчаялся победить в открытой борьбе и назначил за голову Сертория награду.

Слишком был Серторий популярен, слишком его любил народ, чтобы кто-нибудь из полководцев мог с ним соперничать. Метелл и Помпей боялись славы Сертория так же, как его самого. И чем больше успехов имел Серторий, тем меньше у него было шансов вернуться на родину. И сам Серторий начал это понимать. Мысль о том, что он никогда не увидит матери, сделалась для Сертория совершенно невыносимой. На него нападала тоска. И тогда он удалялся от людей. Один бродил по горам, спал на камнях. Его приближенные говорили, что Серторий ищет белую лань или божество в образе белой лани, оказывающее ему покровительство. Об этой лани ходило много всяких рассказов, один невероятнее другого. Утверждали, что тот, кто коснется шеи этой лани, станет непобедимым, что лань обладает даром речи и Серторий советуется с нею перед каждой битвой. Один лишь Перперна, когда его спрашивали о белой лани, говорил:

— Нет никакой белой лани. Она просто пригрезилась людям, уставшим от похода.

Перперна завидовал Серторию. Он не мог простить ему, что воины заставили его, Перперну, подчиниться власти Сертория. Перперне казалось, что, не будь Сертория, он мог бы на почетных условиях вернуться в Италию. Но более всего раздражала Перперну непонятная любовь к Серторию варваров, на которую тот отвечал необычной для римского полководца заботой об их будущем.

«Учить грамоте варваров, предназначенных самой природой к грубому рабскому труду!..— с возмущением говорил Перперна.— К чему приведет это? Если варвары будут знать то, что знаем мы, они перестанут нам повиноваться. Испания будет потеряна. А какой это пример для других провинций!»

Перперна решил действовать.

* * *

Однажды в лагерь Сертория, раскинутый в нескольких милях от Оски, прибыл гонец. В его руках был свиток, перевязанный тесьмой, и какой-то квадратный предмет в тряпке.

— Меня прислал Клеарх,— обратился гонец к Серторию.— Он просил передать это тебе в руки.

Серторий развернул свиток и пробежал его глазами. Заговор в школе! Во главе заговорщиков Индигил. Его помощники — сыновья вождей. Убийство должно произойти завтра, когда Серторий посетит школу. Доказательства? «Разверни и прочти!»

Серторий размотал тряпку. Церы... Серторий узнал бы эти церы среди тысячи других. Он приказал заказать их в Массалии, откуда родом Клеарх. Что же нацарапано на воске?

«Тиран — это похититель свободы и враг справедливости. Он скрывается под разными личинами, любит говорить о добре и благе народа, но ему дорого лишь собственное благополучие. Тот, кто убьет тирана,— величайший из героев. Свободу у иберов похитил Серторий. И он достоин казни. Помни, завтра утром».

«Завтра утром...— подумал Серторий.— О том, что я собираюсь в Оску, из иберов знал один Летан. Наверно, он рассказал племяннику и дал ему оружие. Нет, это невозможно!»

Еще раз Серторий начал читать, но буквы плясали перед его глазами. Нет, это не буквы, а пропитанные ядом зубы змеи. Яд растекся и застыл, как воск. Он, Серторий, вскормил на своей груди змей. Он нарядил их в претексты, дал им всё, что имеет свободнорожденный римлянин. Булла, золотое сердечко, на шее у гадюки!

В этот же день из Оски в преторий[1] доставили Индигила. Его одежда была изорвана, на руках и ногах звенели цепи. Если бы Серторий не был ослеплен гневом, он прочел бы во взгляде мальчика недоумение. Но он ошибочно принял его за страх. Серторий стал угрожать Индигилу и требовать, чтобы он выдал сообщников. Серторий спрашивал о Летане. И мальчик вспыхнул от ярости. В нем проснулись гордость и презрение. Теперь Серторий не ошибался. Да, Индигил презирал его — человека, которого он совсем недавно считал богом.

«Чем отличается Серторий от других душителей моей страны? — думал мальчик.— Он не верит никому, даже своему побратиму! И как к нему подошла белая лань?!»

— Это твои таблички? — спросил Серторий, подступая к юноше.

Индигил молча кивнул.

— И ты не отказываешься от того, что в них написано?

Индигил вспомнил, что Клеарху более всего понравилось его сочинение о тираноубийцах. Он похвалил его за ясность мысли и чистоту слога. Особенно ему пришлась по душе заключительная фраза: «Тот, кто убьет тирана,— величайший из героев». Наверно, она и вызвала гнев Сертория, подумавшего, что это написано о нем. Если бы Индигил теперь писал сочинение, он дополнил бы его. Он написал бы о том, что все тираны подозрительны. Тираны не верят никому и боятся всех. И если у человека появляется подозрительность и недоверие к людям, знай, что в душе он тиран.

— Нет, не отказываюсь! — сказал Индигил.

Он хотел еще добавить, что не понимает, почему Серторий отнес эти слова из сочинения о Гармодии и Аристогитоне[2] к себе. Но Серторий прервал его.

— Уведите его! — приказал он воинам.

В этот день Индигил и еще двое юношей, имена которых назывались в свитке, были казнены. Остальных учеников школы в Оске Серторий приказал продать в рабство.

---

[1] **Преторий** — палатка полководца.

[2] **Гармодий и Аристогитон** — знатные афинские юноши, убившие в 510 г. до н. э. ненавистного народу тирана Гиппарха.

* * *

Через несколько дней после казни заговорщиков в палатку Сертория ворвался Перперна. В его руках был небольшой кожаный мешок, затянутый сверху матерчатыми завязками. Перперна бросил мешок под ноги сидевшему Серторию.

— Что здесь? — спросил Серторий.

— Тебе известна история Камилла? — молвил Перперна, усаживаясь на ковер.

— Ты хочешь сказать — изгнанника Камилла, который спас Рим от врагов? Да, она мне известна лучше, чем любая другая быль древних времен. Ведь и я изгнанник, как Камилл.

— Я не о том,— сказал нетерпеливо Перперна.— Помнишь предание об осаде Камиллом Фалерий?

— Ах, вот ты о чем! Кто же не знает этой басни об учителе, выдавшем римлянам детей!

— Теперь ты начал меня понимать! — воскликнул Перперна.— А если откроешь мешок, поймешь до конца.

Серторий развязал завязки. На дне мешка была человеческая голова. По голому черепу Серторий догадался, что это голова учителя Клеарха.

— Кто убил его? Иберы? Они отомстили ему за то, что он выдал заговорщиков?

— «Иберы»! — Перперна захохотал.— Я убил предателя собственными руками. Я настиг его в нескольких милях от лагеря Помпея и отрубил эту презренную голову. В мешке, что у твоих ног, было серебро. Откуда у школьного учителя столько серебра? Как ты думаешь, Серторий?

Серторий с ужасом глядел на Перперну. Неужели Клеарх — предатель? Наверное, его подкупил Помпей. «Подлый выученик Суллы решил поднять против меня иберов»,— думал Серторий.

— Теперь я вижу, ты все понял,— сказал Перперна.— Помпей решил поссорить тебя с иберами. И он добился этого. Видел бы ты, что делается в Оске! Серебра, что было в этом мешке, хватило на то, чтобы выкупить юношей, проданных в рабство. Я сделал это,

зная, что ты поступил бы так же. Но Харон[1] неподкупен. Мертвых не вернешь. Летан объявил, что он больше не считает себя твоим побратимом.

Серторий протянул Перперне таблички.

— А это? — сказал он дрожащим голосом.— Ведь это таблички Индигила? Он сам признал!

Перперна развернул таблички.

— Грубая работа! — бросил он, пододвигаясь к Серторию.— Обрати внимание: запись начата не с верхней части таблички, а с середины. То, что было вверху, стерто. А последние слова написаны другой рукой. Негодяй старался подражать неумелому детскому почерку. Но сравни букву «а» на первой и второй табличках. Видишь, средняя черточка с завитками. Это ослиные уши Клеарха! Клянусь Геркулесом! Это просто школьное упражнение, которое Клеарх обработал специально для тебя!

— Почему же молчал Индигил? — глухо сказал Серторий.

— Ты не знаешь иберов?..— молвил Перперна.

Серторий схватился руками за голову. Ему казалось, что он знал иберов. Но гнев ослепил его. Он попал в ловушку, вырытую изменником, и распорол свою душу о заостренные колья. Он принял гордость оскорбленного мальчика за дерзость и вызов. Он поверил предателю! Булла! Золотое сердечко захлебнулось в крови!

Ночь. Самая страшная из ночей в жизни Сертория. Он метался по палатке, как орел, пойманный в сети. Он убил неповинных детей! Летан объявил, что не считает себя больше побратимом, и отделился со своим отрядом. Он уйдет к Помпею. И тогда вся Испания будет потеряна. Утрачено все, чего он достиг трудом и терпением. И это сделал какой-то жалкий учителишка-грек! Что из того, что Перперна отрубил ему голову? Змеиный яд уже отравил чистую кровь Летана.

---

[1] Харон.— Согласно греческим преданиям, перевозчик, который на челноке переправляет через реку подземного царства души мертвых. Для уплаты за перевоз умершим клали в рот мелкую монету.

«Если бы я мог найти белую лань...— думал Серторий.— Если бы иберы увидели меня с нею!.. Я вернул бы их доверие. Они поняли бы, что я не виноват, что я стал орудием злой воли».

* * *

Еще солнце не поднялось над горами и лагерные петухи не начали свою перекличку, как в палатку вновь ворвался Перперна. Он бросился к лежащему на ковре Серторию и начал его трясти.

— Чего ты от меня хочешь? — спросил Серторий.

— Победа! — воскликнул Перперна.— Летан разбил конницу Помпея. Убито двести врагов. Сто взято в плен. Вот донесение!

Это была первая победа после преступления в Оске, и Серторий счел ее возмездием за подлые интриги Помпея. Но более всего Сертория обрадовало, что победителем оказался Летан — человек, перед которым он был так виноват. Узы, связывающие дядю и племянника, у варваров очень крепки. «Иберы простили мне мою ошибку,— думал Серторий, читая донесение Летана.— Они поняли, что я был введен в заблуждение предателем. Они не изменили мне!»

Тотчас же Серторий приказал совершить благодарственное жертвоприношение. И еще не стекла с алтаря кровь жертвенного животного, как к Серторию подошел Перперна. На голове его был венок, лицо дышало миролюбием и радушием.

— Видишь, Серторий,— сказал Перперна,— правда всегда торжествует победу. Наказан не только предатель Клеарх, но и его покровитель Помпей!

Серторий с благодарностью взглянул на Перперну. «Этот человек предан мне,— думал полководец.— Как хорошо он выразил мои чувства!»

— Я предлагаю,— продолжал Перперна,— отметить эту победу в кругу друзей. Сегодня я приглашаю тебя в Оску на пир.

— В этот день твое приглашение мне очень дорого! Я с благодарностью его принимаю.

. Пир был в разгаре. Перперна возлежал против Сертория. Он был очень оживлен. Серторий относил это

оживление за счет торжественного события, которое приближало окончательную победу над Помпеем. Серторий и не догадывался, что не было никакого сражения между отрядом Летана и конницей Помпея. Гонец, доставивший Серторию донесение, был одним из заговорщиков, а донесение составлено самим Перперной.

— Я слышал, у Красса[1] появилось новое увлечение,— рассказывал между тем Перперна, пододвинув к себе чашу с вином.— Он занялся рыбами. В своем поместье под Неаполем Красс приказал вырыть каналы, соединяющиеся с морем. В каналы были выпущены рыбы самых диковинных видов. Целыми днями Красс наблюдает, как резвятся его «милые рыбки». К ним приставили особого раба, которому Красс дал кличку Нептун. Однажды мостик, с которого Красс наблюдал за рыбами, провалился, и Красс упал в воду. Мурены[2] сожрали бы его, если бы на помощь не подоспел Нептун. И как, ты думаешь, его отблагодарил Красс? Он сказал: «Бедные рыбы! Вас так плохо кормят, что вы чуть не съели своего господина!» И тотчас же приказал связать Нептуну руки и бросить его рыбам на корм.

Послышался смех и возгласы:

— Ай да Красс!

— Что тут смешного! — резко сказал Серторий.— Все они таковы, выученики Суллы! Из-за них восстали рабы. Одного раба Красс бросил рыбам. А сколько его невольников перебежало к Спартаку?! Скорее можно встретить белую лань, чем дождаться благодарности от сулланца!

При словах «белая лань» ноздри Перперны вздрогнули. Или, может быть, это только показалось Серторию?

— Помнишь, Перперна, ту белую лань? — продолжал Серторий, опуская голову на подушку.— Тебе, наверно, ее появление показалось чудом?

---

[1] Марк Лициний Красс — римский полководец, сторонник Суллы, богач. Нажил свое богатство на проскрипциях и грязных спекуляциях. В 71 г. до н. э. Красс подавил восстание рабов под руководством Спартака.

[2] Мурена — хищная морская рыба, напоминающая по внешнему виду змею. Римляне считали ее лакомством. Мурен держали в садках.

Перперна сжал губы. Можно было бы уже дать знак, но хочется выслушать историю лани — лани, давшей Серторию власть над иберами. Серторий стал для них вторым Вириатом. Как это случилось, что к нему подошла лань?

— В тот год, когда я понял, что из меня не выйдет Геракла...— начал Серторий проникновенно.

— Ты хотел стать Гераклом! — послышался чей-то насмешливый голос.— У Геракла были оба глаза.

Но Серторий продолжал, словно не догадываясь, что его хотят умышленно вывести из равновесия:

— ...мне пришлось жить в пещере с охотником и воином Спаном. Нет, я начну сначала. Бывал ли кто-нибудь из вас близ Гадеса[1], где Европа и Ливия[2] сходятся, как два борца перед смертельной схваткой? Два материка. Два великана. Один — широкоплечий, синеглазый, с копною светлых волос, прямым носом — это Европа. Другой — смуглолицый, черноглазый, с толстыми губами и вьющимися, как у барана, волосами — Ливия. Геракл и Антей! Схватка между ними длится веками, и кто знает, закончится ли она когда-нибудь. Както Антей, перешагнув пролив, соединяющий наше море[3] с океаном, ринулся через непроходимые снежные горы на зеленые равнины Италии. Антей стоял у ворот Рима. Тогда его звали Ганнибалом. И много полководцев хотело помериться с ним силами. Но боги предназначили быть Гераклом одному Сципиону. И Ганнибал был повержен на землю. Ганнибал, но не Антей. Новое имя Антея — Югурта[4]. Там, где он не мог взять силой, он брал храбростью и коварством. Сколько горьких поражений пришлось на долю наших отцов, пока не появился новый Геракл! Другое его имя — Гай Марий. В цепях был приведен в Рим Югурта, но не Антей. А Марий погиб от яда междоусобной войны[5]. Долго я не решался

[1] Гадéс — город на атлантическом побережье Испании, близ Гибралтарского пролива, называвшегося в древности Столбами Геракла; теперь Кадикс.

[2] Ли́вия — древнее название Африки.

[3] Римлянин Серторий имеет в виду Средиземное море.

[4] Югу́рта — царь Нумидии, ведший войну против Рима в 111—105 гг. до н. э.

[5] Намек на гибель Геракла от яда.

подобрать львиную шкуру и палицу Геракла. Мне помогли киликийские пираты. Они переправили меня и моих друзей в Тингис[1]. Там мне показали могилу Антея. Я тогда еще не знал, что Антей — это не какой-то один герой, а вся Ливия. Я, глупец, приказал воинам раскопать эту могилу. Потом досужие языки разнесли слух, что я нашел кости гиганта. Нет, Антей не умер! Ливийцы, которыми командовал Аскалис, устраивали засады. Им помогали их степи и горы. К моим прежним ранам прибавилась эта.— Серторий показал на глаз.

В комнате воцарилась тишина. Все оставили свои фиалы, слушая как завороженные эту речь, полную ума и блеска. В образах с детства знакомого мифа о схватке Антея с Гераклом вставала история кровопролитных войн Рима с Карфагеном и Нумидией.

— Поняв, что Антея не победить, я вернулся в Испанию,— продолжал Серторий.— Но здесь уже орудовали сулланцы. Мой верный друг Спан укрыл меня от псов Суллы в горах Лузитании. Я жил в пещере и мечтал об островах Блаженных[2]. В Гадесе мне рассказали о них моряки. Там постоянно дуют мягкие и влажные ветры. Воздух животворен. Земля не истощена, и на деревьях много плодов. Я готов был прожить остаток жизни на этих островах, забыть о родине, где воцарились обман и насилие. Однажды пришел Спан и, как всегда, положил к моим ногам свою корзину. В ней что-то шевелилось. Спан открыл корзину и вынул из нее крошечного олененка. Он был совершенно белый, как молоко или как снег на горных вершинах. Мне раньше приходилось видеть белых египетских зверьков — кошек, как иначе их называют. Спан не раз приносил мне белых кроликов с красными глазками. Но белого оленя я никогда не встречал. С этого дня у меня появилось занятие. Я стал ухаживать за олененком, у которого убили мать. Олененок совсем привык ко мне, спал со мною рядом,

[1] Ти́нгис — древняя финикийская колония близ нынешнего Гибралтарского пролива; теперь Танжéр.

[2] Острова Блажéнных (теперь Канáрские острова) расположены в Атлантическом океане, западнее Африки. Древним было известно шесть Канарских островов. Острова эти славились мягкостью климата. О стремлении Сертория скрыться на островах Блаженных сообщает греческий писатель Плутарх.

положив на меня свою голову. Но как я мог покинуть это маленькое доверчивое существо? Его съели бы волки! И ты знаешь, Перперна, с тех пор, как у меня появился олененок, мое будущее перестало мне рисоваться в черных красках. И я решил продолжать борьбу...

Перперна поднял чашу вина и, пригубив, со звоном уронил ее. Это было условным знаком. И сразу же Марк Антоний, сосед Сертория, нанес полководцу первый удар в спину. Кровь обагрила белую тунику. Раненый Серторий повернулся и попытался выпрямиться, но другой заговорщик прыгнул ему на грудь и схватил за руки. На голову Сертория обрушились удары.

Перперна встал. Ноздри у него раздулись, как у хищного зверя, почуявшего запах крови. С видом победителя он оглядел своих растерянных и побледневших сообщников. Теперь он главнокомандующий армией и никто не помешает ему договориться с Помпеем.

* * *

Ветер дул в лицо. Пыль забивалась в глаза, бороды, складки одежды. Листья, сорванные с деревьев, кружились над ущельем, как стая вспугнутых птиц. Кайкий — так называют этот северный ветер. На заре он рождается, как вздох ребенка, как нежное дуновение, а с восходом солнца набирает силу и свирепеет. Словно кто-то отвалил камни, выпустил из пещеры духов и они обрушили на римлян всю свою затаенную ярость. Скалы сыпали на воинов песок и мелкие камешки. Деревья протягивали к горлу свои голые изломанные ветви. Внизу негодующе шумела река; в реве волн слышались гнев и укор. А ветер дул всё сильней и порывистей, пронизывая насквозь. Кайкий! От его ледяного дыхания не укрыться за плащами и латами. От него не спрятаться за чужой спиной.

Всего пять миль от Оски, где был убит Серторий, до лагеря, где стоял Летан со своими иберами. Но Перперне казалось, что дороге нет конца. Она тянулась бесконечными петлями, словно кому-то хотелось поймать его в западню.

Но кто это скачет, прижавшись к гриве коня, будто подгоняемый ветром? Сам Летан! Один! Без воинов!

Что его заставило покинуть свой лагерь, не дождавшись Перперны? И почему он молчит? Почему не поднимает глаз? Неужели смерть Сертория его не радует? Или он догадывается, кто толкнул Сертория на убийство Индигила?..

Летан и Перперна молча ехали рядом. Мерно стучали копыта по каменистой земле. Кони встряхивали гривами. Пахло прелыми листьями и еще чем-то неуловимым.

Внезапно Летан остановил коня и соскочил на землю. Что случилось? Перперна повернулся. У него перехватило дыхание — опять эта белая лань! Лань, о которой рассказывал перед смертью Серторий. Нет, Серторий говорил о белом беспомощном олененке. Перперна не дал ему закончить рассказ. Он выронил чашу с вином — и кровь залила белую тунику, брызнула на пол. А лань стоит на утесе. Все смотрят на нее, запрокинув голову. От нее не отвести глаз. Это не видение, не призрак...

Пошатываясь, Летан шагнул к Перперне. Какие у него огромные глаза! Перперна в ужасе отпрянул. Но ему нечего бояться. Конечно, Летан не хочет причинить ему зло. Он сам напуган и растерян. Его шаги неуверенны, словно перед ним внезапно возникла пропасть и он идет по ее краю.

— Белая лань ищет Сертория,— сказал ибер, словно разговаривая со своей совестью.— А я его не уберег.

Дрожь пробежала по его телу. Он взглянул на Перперну так, будто раньше его не замечал. В глазах его вспыхнул злобный огонек. Потом, резко повернувшись, Летан побежал к своему коню. Послышался дробный стук копыт. Или это стучит сердце Перперны, замирая от страха и предчувствия неотвратимой беды?..

Перперна понял, что означала эта вспышка гнева и внезапный отъезд Летана. Летан решил покинуть Перперну и скачет, чтобы сообщить решение своему отряду. Примеру Летана последуют и другие иберы. Перперна и его небольшое войско останутся одни. Помпей узнает об этом и воспользуется случаем. Не почетный мир, не возвращение на родину ожидают Перперну, а позорная смерть...

Римляне молча окружили Перперну. Тот переводил

взгляд с одного лица на другое. И ни в одном он не находил сочувствия, воины не замечали его, словно он был уже мертв. Перперна отыскал глазами Марка Антония. «Антоний, что с тобой? Тебя тоже смутила эта белая лань?»

— Уходи, Перперна,— глухо сказал Антоний.— За один день ты растерял все, что Серторий создал за десятилетие. Ты предал нас.

Это был конец. Римляне расступились. Перперна шел, опустив голову. Так идут осужденные на смерть[1].

## РЫБАК И ЦЕЗАРЬ

Капри, или, как говорили в древности, Капреи,— очаровательный уголок земли. Так считают все, кто побывал на этом острове. Что касается меня, то я не был на Капри. Я знаю его лишь по книгам и фотографиям. В моей небольшой коллекции имеется открытка цвета разведенной синьки. Бóльшую ее часть занимает гора с кучей каких-то огромных отесанных камней. Камни нависают над обрывом, и может показаться, что это остатки моста, взорванного или просто обрушившегося под тяжестью времени.

Я часто смотрю на открытку и мысленно переношусь в те дни, когда на острове жил император Тиберий. Я вспоминаю все, что я когда-то о нем читал. Передо мною проходят люди в одеждах, которые теперь можно увидеть разве лишь на актерах. Я слышу речь, ставшую давно уже мертвой. На меня смотрят сотни глаз — одни с надеждой и укором, другие с деланным равнодушием и неприкрытой ненавистью.

Не удивляйтесь! Я историк. А историк должен быть и судьей. Только он судит тех, кого уже нет в живых. Подобно Минóсу, герою греческих легенд, он окружен тенями, призраками прошлого.

---

[1] Перперна бежал к Помпею и пытался подкупить его, передав ему переписку Сертория с выдающимися лицами Рима. Но Помпей уничтожил переписку, не прочитав ее, а Перперну приказал казнить.

«Вот гробокопатель! — воскликнете вы.— Нашел себе занятие — судить мертвых! И что им от твоего суда!»

Выслушайте меня до конца. Да, я сужу мертвых, но суд этот нужен живым.

Итак, остров Капреи — очаровательнейший уголок земли. Нигде нет такого моря, соперничающего своею синевой с небом. Нигде нет таких сказочно красивых гротов! В них можно попасть на лодке, освещая себе дорогу факелом. Со скал Капреи открывается вид на берег, выгнувшийся подковой. Это Счастливая Кампания. Люди называли этот край счастливым за обилие плодов его земли. Говорили, что сами боги сражались за обладание Кампанией. Показывали даже место, где произошла битва богов. Сколько романтических легенд было связано с горами Кампании, с ее голубыми озерами, с глубокими и мрачными пещерами! Наверное, император, покинувший Рим и поселившийся на Капреях, очень любил природу? Или, может быть, ему хотелось пожить в тех местах, которые описали два волшебника — Гомер и Виргилий? Может быть, он желал быть ближе к той долине, где герои сходят в царство безмолвных теней?

Нет, не красота природы, не соперничающая с нею сила человеческого воображения заставили Тиберия поселиться на Капреи. Его погнал сюда страх перед людьми.

Еще в те годы, когда Тиберий не был императором и жил на Эсквилине[1] в садах Мецената, к нему в постель заползла змея. Тиберию не надо было обращаться к понтифику, чтобы объяснить это посланное свыше знамение. Подобно многим, он верил, что образ змеи принимает божественный покровитель — Гений, который сопровождает каждого человека. Появление обычно незримого Гения предвещает какие-то неожиданные перемены. Тиберий приказал рабам не убивать змею и не выпускать ее, а осторожно перенести в просторную металлическую клетку. Тиберий был честолюбив, хотя тщательно это скрывал.

Тиберий был пасынком императора Августа. Но ни-

[1] Эсквилин — один из семи римских холмов. В эпоху империи — аристократический район Рима.

кому не могло прийти в голову, что он когда-нибудь станет его преемником. Август имел двух внуков, Гая и Луция, которые должны были унаследовать его власть. Был у него и другой пасынок, брат Тиберия — Друз, и еще один внук — Марк Агриппа. Август любил Гая, Луция и Друза, равнодушно относился к Марку Агриппе, а Тиберия он не терпел. Все вызывало в нем отвращение: прыщеватое лицо, заросший волосами затылок, привычка кривить голову, в особенности же манера разговаривать. Тиберий был от рождения шепеляв, и, чтобы отчетливее произносить слова, он, разговаривая, очень энергично двигал челюстями, словно пережевывал жесткий кусок мяса.

Раньше всех умер Друз, брат Тиберия. Август сильно горевал. Но его утешало, что у него осталось три внука. Вскоре после того, как в постель к Тиберию заползла змея, в один год умерли Гай и Луций. Трудно передать горе Августа. Гай и Луций были молодыми и очень способными людьми. Вот тогда Август усыновил престарелого Тиберия вместе с последним оставшимся в живых внуком Марком Агриппой. В Риме считали, что, усыновляя Тиберия, Август просто хотел оказать ему почет, как старейшему члену императорской фамилии. Но все ошиблись. Незадолго до смерти Август выслал из Рима Марка Агриппу. У императорского трона остался один Тиберий.

Много лет спустя в Риме поняли, почему перед смертью Август возвысил нелюбимого Тиберия. Август заботился о своей посмертной славе. А что может более служить ей, чем ненавистный народу преемник? Август отдал Рим «медленно жующим челюстям» (так он сам называл Тиберия), чтобы даже те, кто не мог забыть о его кровавом пути к власти, отдавали ему предпочтение перед новым властелином.

Сорок четыре года правил Август Римом. Он оставил своему преемнику огромную империю, простиравшуюся от бурного атлантического побережья Испании до ленивого Евфрата, от студеных волн Рейна до песков знойной Африки. На границах империи стояли легионы, охраняя ее от варваров. В самом Риме императорский дворец сторожили когорты преторианцев. Никто серьезно не помышлял о восстановлении республикан-

ских порядков, уничтоженных Августом. Даже надменным сенаторам, представителям древних родов, стало казаться, что таким огромным государством, как Рим, может управлять лишь один человек, наделенный неограниченной властью.

Говорят, что египетские пирамиды составлены из огромных камней, которые ничем не скреплены. Нет, они скреплены страхом. Страхом перед огромной властью земных царей и ужасом перед тем, что ожидает людей в загробном царстве, там, где цари становятся судьями. Страх перед тюрьмами и пытками, страх за своих близких, страх перед будущим, может быть еще более худшим, чем настоящее, страх перед богами — вот опоры, на которых держались империи и царства. Но страх владел не только маленькими людьми. Ужас овладевал и теми, перед которыми трепетали народы. Страх, что придется ответить за пролитую кровь, загубленные жизни, страх за свою жизнь и за свою власть, страх перед близкими, которые только ждут твоей смерти.

После того как Тиберий стал императором, змею, возвестившую его будущую славу, переселили из клетки в специальную комнату. Тиберий хранил ключ от комнаты при себе, не доверяя никому своего Гения. Он сам приносил ему пищу и сам убирал комнату. Придворные боялись даже близко подходить к двери, за которой жил императорский Гений.

В то утро ничто не предвещало беды. Как обычно, Тиберий открыл дверь и вошел в полутемную, пахнущую сыростью комнату. Многих удивляло и даже пугало, что император видит в темноте, как кошка. Но в этом не было чуда. Глаза Тиберия просто привыкли к мраку, в котором жил Гений. «Где же он? Почему он не ползет навстречу?»

Император уронил ящик с кормом. Змея лежала в нескольких шагах неподвижная, бездыханная. Ее голову покрывала копошащаяся куча муравьев. Муравьи проникли в закрытую комнату. Муравьи убили Гения.

На какое-то мгновение Тиберию предстала другая картина. Форум, заполненный крикливой чернью. С плоской крыши дворца на Палатине людишки кажутся такими же маленькими и юркими, как муравьи. И тут Тиберий — так ему казалось — постиг глубокий смысл

знамения. Нет, не от медленного действия яда, подброшенного подкупленным поваром, не от меча преторианца, не от рук коварных придворных найдет он смерть. Ему угрожает чернь, вечно неспокойная и жаждущая перемен толпа! Его приемный отец умел держать плебеев в узде. Бесплатные раздачи хлеба, пышные кровавые зрелища — все это отвлекало толпу от мыслей об утраченном ею своеволии, которое называют свободой. Но даже смирный конь может понестись и сбросить повозку в пропасть. Даже преданный пес вдруг становится бешеным и, оскалив зубы, с пеной у рта бросается на своего хозяина. А толпа эта — тысячи бешеных псов! Какой-нибудь слух, голод, проигранное сражение, чума — любая случайность ее может взбудоражить. Чернь затопит все площади и улицы, грязным потоком хлынет ко дворцу. Ее не остановят ни обитые медью двери, ни стража, как та дверь не помешала муравьям.

В этот же день император со своей свитой покинул Рим. Его отъезд напоминал бегство. Тиберий не счел нужным даже посетить сенат. Консулов, пришедших к нему по какому-то неотложному делу, он не принял, приказав передать, чтобы его не беспокоили.

Так Тиберий поселился на Капреях. Казалось, этот остров должен был его вполне устроить. Три мили, отделявшие Капреи от ближайшей точки кампанского берега, были достаточным расстоянием, чтобы избавиться от бездельников, разъезжающих на лодках по заливу. Да и пристать к острову можно только в одном месте, так как его берега скалисты и обрывисты. Для Тиберия остров имел лишь один недостаток: он был обитаем. На Капреях жило несколько сот рыбаков и виноградарей. Они копошились на берегу, раскладывая сети, ползали по холмам, покрытым виноградниками, и даже подходили к вилле Юпитера, где поселился император. Всюду эти муравьи! Тиберий решил построить такую высокую стену, чтобы ни один глаз не увидел, что за ней делается, но придворный архитектор отговорил его от этого. Ведь нельзя ничего увидеть, если подойти к самой стене. Но остров холмист,— тот, кто захочет увидеть императора, сможет взойти на ближайший холм. Тогда император приказал соорудить дворец на скале, самой высокой на острове. И такой дворец был построен. Откуда к нему



ни подойти, ничего не увидишь, кроме стен, ставших как бы продолжением изгибов скалы. В том месте, где был единственный удобный доступ на скалу, император приказал вырыть глубокий ров и перебросить через него висячий мост, поддерживаемый цепями. Этот мост на ночь поднимался. Император мог спать спокойно.

Прошло несколько месяцев. В Риме уже свыклись с тем, что дворец на Палатине пуст и на деле управляет государством начальник дворцовой гвардии. Многие в душе надеялись, что император вскоре умрет. Рим жил слухами о пороках, которым предавался в уединении император. Кто знает, была ли в этих слухах доля истины, или они порождены праздным воображением тех, чей взгляд не мог никогда проникнуть за стены «козлиного логова»,— так называли в Риме дворец на скале.

И жители Капреи тоже привыкли к тому, что на их острове живет сам император. Привыкли они к выгодам

и неудобствам этой чести. Впрочем, если положить выгоды и неудобства на разные чаши весов, перевесила бы чаша с выгодами. Правда, купцы из Кум и Неаполя стали реже посещать остров, зато дворец покупал большую часть улова рыбы и сбора винограда. Дворец платил хорошо. А кроме того, капрейцы были избавлены от поборов мелких чиновников, от которых они страдали раньше. «Наш император!» — с гордостью говорили капрейцы о Тиберии. И, может быть, они имели на это большее право, чем заносчивые римляне. Ведь император жил на Капреях и ни разу после своего отъезда на остров не был в Риме.

Вероятно, капрейцы и сохранили бы любовь к своему императору, если бы не один случай. Вот что рассказывает древний историк Светоний: «После приезда его на Капреи неожиданно появился перед ним рыбак в тот момент, когда он был один, и поднес ему большую краснобородку. Тиберий испугался, что рыбак пробрался с противоположной стороны острова, по скалам и непроходимым местам, и приказал его бить рыбой по лицу. Пока несчастного наказывали, рыбак благодарил судьбу, что не принес еще огромного, пойманного им омара...»

А теперь послушайте, как это увидел я.

Зеленоватые водоросли на прибрежных черных камнях были как борода владыки морей Посейдона, и волны, подобно Нереидам[1], играли ею в лунном свете. Авл любил море, тихое и бурное, ночное и утреннее. Море наполняло его душу своим светом и дыханием. Море было для него тем, чем для пахаря пашня. Авл был рыбаком. И отец его тоже был рыбаком. И все его предки были рыбаками. Он родился в хижине, прилепившейся к скале у самого моря. Его дед, слишком старый для того, чтобы рыбачить, и поэтому остававшийся в хижине с внуком, клялся богами, что Авл, едва только родившись, явственно произнес слово «маре»[2]. Рыбаки Кап-

[1] **Нереиды** — в греческой мифологии обитательницы морского дна, живущие у своего отца Нерея в блистающем серебром гроте.

[2] **Máре** — по-латыни «море».

реи, может быть, сочли бы это чудом, если бы не знали, что дед был большим выдумщиком и любил прихвастнуть.

Как и все дети рыбаков, маленький Авл чуть ли не до двух лет лежал в люльке из старых сетей. Волны баюкали его, и ветер раскачивал колыбель. Авл протягивал ручонки к свету, и его лепет сливался со свистом ветра и шумом волн. А когда боги научили Авла ходить, его первый шаг был к морю. Море не пугало его, как других. Он не закричал, когда его смыла волна. И люди, вытащившие мальчика на камни, уверяли, что Авл упирался, плакал и рвался опять в воду. Море было первым товарищем его детских игр. В дни осенних бурь оно бросало к его ногам то плоскую серебряную рыбку, то морского конька, то обломок весла. Эти случайные дары давали Авлу больше, чем дают маленьким римлянам глиняные повозочки или матерчатые куклы. Дары моря не были жалким подражанием видимому миру. Они заставляли задумываться над тайнами природы. Что делается там, в глубинах? Почему приходят бури? Откуда этот обломок весла? От триремы или от либурна?[1] Или, может быть, от рыбачьей лодки, разбившейся на утесах?

Вскормленный морем, вдали от лжи и алчности, зависти и коварства, богатства и роскоши, Авл и в двадцать лет был простодушен и чист, как ребенок. Пока был жив отец, Авла не посылали продавать рыбу. Бесчестные торговцы всегда обманывали его. Он уносил в гавань корзину, полную до краев, а возвращался с жалкой горсточкой монет. Авл не мог никак понять людей, скупавших рыбу, но никогда не бросавших в море сети. Почему бы им самим не взять лодку и не отправиться на ловлю? Вместо этого они в ожидании рыбаков просиживают на жаре целые дни. Он не верил, когда ему рассказывали, что, скупая улов за бесценок, эти люди наживают состояние и строят себе виллы, которые, подобно драгоценным белым раковинам, украшают берег Кампании. Разве можно поверить, что на Рыбном рынке в Риме за шестифунтовую барвену[2] дают пять тысяч

[1] Триремы — большие корабли. Либурны — небольшие суда, плавающие близ берегов.

[2] Барвена, или краснобородка,— один из видов морского окуня. Она обладает свойством менять после смерти окраску.

сестерций? Таких денег, пожалуй, не найдешь у всех рыбаков Капреи. За них можно купить и новую лодку, и добрую сеть. Правда, Авлу ни разу не попадалась такая большая барвена. Обычно он вытаскивал фунта на два. Торговцы вынимали ее из корзины и тут же, скривя губы, бросали ее назад. «Мелочь!» — говорили они. И платили за всю корзину сразу, хотя другим рыбакам за барвену давали особую цену.

Было утро весеннего дня. Море только проснулось. Оно раскинулось во всю свою ширь и ласково щурилось, встречая солнце. Как плавники какой-то сонной рыбы, тихо поднимались и опускались весла. Капли жемчужной влаги стекали с их краев. В лад веслам звучала песня Авла, ясная, как это утро.

Авл опустил руку в море. Упругая волна плеснула в его ладонь так, что он ощутил соленые брызги на губах. Авл улыбнулся от счастья: море узнало его и ответило ему рукопожатием. Схватив веревку у поплавка, он начал вытаскивать сеть. Сеть была тяжелой. Напряглись мускулы на его руках, задвигались желваки на загорелых скулах, втянулся живот, выпятилась грудь. Он был прекрасен в эти мгновения труда и единоборства с природой.

Авл подтянул сеть. Над нею что-то хлестнуло, подняв столб брызг. По силе удара Авл понял, что в сеть попала большая рыба. Но какая? Может быть, морской черт, ненавистный рыбакам? Или змееподобная мурена? Авл еще раз дернул сеть, и рыба на мгновение выскочила из воды.

Авл ахнул от изумления. Барвена! Да еще какая! Фунтов на семь или восемь!

Слух о том, что поймана огромная барвена, быстро распространился по острову. Со всех сторон к хижине Авла шли рыбаки, чтобы своими глазами посмотреть на рыбу и на счастливца, которому она досталась. Интересно, сколько за нее дадут торговцы?

Толпа окружила Авла с его добычей. Авл сидел, положив тяжелые кулаки на колени. Рыба в обрывке старой сети билась у его ног. Никому не приходилось видеть такой большой барвены.

— Это рыбий цезарь! — воскликнул кто-то.

Авл вскочил. «Как же я не догадался сам! — подумал

он.— Такой рыбы не ловил еще никто на острове, потому что на острове никогда не жил цезарь. Эта рыба принадлежит ему».

— Я отнесу ее императору,— сказал Авл.

— Подумай, Авл,— сказала ему мать.— Твоя лодка скоро развалится. Сеть порвалась об острые камни. У нас в доме ни масла, ни соли!

— Это его рыба! — сказал Авл.

— Тебя не пустят во дворец,— сказал старый рыбак.— Рыбу заберут воины, и ты за нее ничего не получишь. Отвези ее лучше в Рим.

— Зачем мне везти ее в Рим, когда цезарь здесь? — сказал Авл.— Я ее отдам цезарю. Это его рыба!

Больше с ним никто не спорил. Все знали, как он упрям. К тому же это его рыба. Он ее поймал и может делать с нею, что хочет.

Авл не был настолько наивен и простодушен, чтобы идти туда, где находится мост, охраняемый воинами. Он уже успел присмотреться к этим наглым и бессовестным людям, от которых немало натерпелись рыбаки, а больше всего их дочери. «Прав старик,— думал Авл.— Воины отберут рыбу! Император о ней даже не узнает!»

Авл вспомнил, как дед показывал ему другую дорогу на ту крутую скалу, где теперь дворец цезаря. Собственно, это была не дорога и даже не тропа, а просто обрыв с уступами, по которым можно взобраться. И он в детстве как-то взбирался на скалу этим путем и чуть не сорвался в море. Теперь у Авла сильнее руки и зорче глаз. Ему мешает рыба...

Авл улыбнулся. Он всегда улыбался, когда ему удавалось найти удачное решение. «Конечно, я привяжу рыбу к спине,— подумал он.— Руки у меня будут свободны!»

Так он и сделал. Трудным ему показался лишь последний отрезок пути. Тут скала была чуть ли не отвесной. Авл карабкался, цепляясь руками за острые камни и колючие кусты. Порой он отдыхал. И тогда ему становился слышен шум моря. Но он не видел его, так как боялся повернуться. Каждое неосторожное движение грозило ему смертью. Но Авл не жалел, что пошел к цезарю. И ему не было страшно. Он был не один. Ры-

ба хлопала его хвостом по спине, словно подбадривала: «Иди, Авл, иди! Я с тобой!»

Осталось несколько футов. Авл обеими руками уцепился за край скалы и вытянул тело. Несколько мгновений он лежал с закрытыми глазами, тяжело дыша.

Когда он открыл глаза, то увидел прямо перед собою в двух или трех шагах старика. Старик угрюмо смотрел на него, как-то странно наклонив голову. Так смотрят на какое-нибудь насекомое, ползущее по земле, на муравья или жука.

Внезапно старик вскинул голову. И тогда Авл узнал его. Да ведь это цезарь! Таким он изображается на монетах. Но почему у него такой испуганный взгляд?

— Цезарь! — сказал Авл вставая.— Я принес тебе эту рыбу.

Он стал разворачивать обрывок сети. Рыба ударила хвостом. Цезарь попятился, защищая лицо руками.

— Это барвена,— как ни в чем не бывало продолжал Авл.— Я поймал ее для тебя. Она еще не заснула.

Император коснулся спиною колонны и вдруг, резко повернувшись, дернул за конец какого-то шнура. Через несколько мгновений послышался топот. Стража, звеня оружием, бежала на зов императора. Сбегались и слуги.

Авл стоял со своей рыбой, не понимая, откуда сразу взялось столько людей.

Император начал успокаиваться. К нему возвратился дар речи.

— Что это за человек? — спросил он.

— Это здешний рыбак,— пролепетал кто-то.

Но этот ответ не удовлетворил императора.

— Как он сюда попал? — спросил Тиберий.

Все взоры обратились на начальника караула. Это в его обязанности входило следить, чтобы никто из посторонних не входил во дворец.

Начальник караула, рослый и широкоплечий верзила, выступил вперед. Он был бледен как полотно. Руки его дрожали. Начальник караула знал, чем ему грозит появление этого безумца. Все помнили, как кончил свою жизнь преторианец, не поднявший на ночь моста. Его казнили, хотя во дворец никто не проник.

— Я его не видел! — выкрикнул начальник караула.— Никто его не пускал! Никто его не знает!

— Но кто-то должен знать, как во дворец проходят посторонние! — сказал цезарь. В его голосе появились металлические нотки.— Может быть, он прилетел по воздуху вместе со своей рыбой?

Авл понял, что настала пора рассеять сомнения.

— Я пришел отсюда,— сказал он, показывая на обрыв.— Пришлось, конечно, попотеть, и ноги о камни ободрал. Но рыба еще живая. Видишь, как лупит хвостом...

Почему-то никого не удивило, что рыба еще живая, хотя он поймал ее еще на заре. И никто не похвалил Авла за то, что он, рискуя жизнью, принес цезарю этот чудесный дар моря.

Все со страхом смотрели на императора, ожидая его решения.

— Если этот человек пробрался сюда по обрыву, его примеру могут последовать другие,— сказал медленно император.— Они могут принести меч или яд.

Все молчали. И что можно было против этого возразить? Император считал себя в безопасности на этом острове. Ров и пропасть надежно ограждали его от всего мира. А теперь оказалось, что сюда можно пройти.

— Они не пройдут,— сказал рыбак, добродушно улыбаясь.— Они не знают тропинки. Ее показал мне дед, а его уже нет в живых, да будут к нему милостивы подземные боги!

Начальник стражи выдохнул воздух. Кажется, он спасен. Если только один этот человек знает обходную тропинку во дворец, то...

Видимо, эта же мысль пришла на ум самому императору. Он сделал жест, не оставляющий сомнений. Император указывал рукой на обрыв.

Начальник стражи бросился к рыбаку. Страх за свою жизнь удесятерил его силы. Одним ударом он сбил Авла. Рыба выскользнула из рук рыбака и упала на ступени к ногам императора. Еще один удар — и рыбак, даже не вскрикнув, полетел в пропасть.

Все затаили дыхание. И в тишине стало слышно, как внизу шумит море. Но никто не услышал удара челове-

ческого тела. Этот удар слился с шумом волн. Сын моря ушел туда, откуда пришел.

Все, кто стояли рядом, были приближенными цезаря, и темная сила власти давно убила в них все человеческое. Но то, что они увидели, заставило их содрогнуться.

Огромная рыба в последний раз ударила хвостом. И ее спина вдруг стала пурпурной, как море в час заката. Или, может быть, чья-то кровь разлилась по ее телу... Свет на чешуе то вспыхивал, то бледнел...

## НЕВИДИМЫЙ

В те времена правил Ши-хуáн. Во всей Поднебесной не было земли, которая бы ему не принадлежала, а за ее пределами человека, который бы о нем не слыхал. Но император, упоенный своим величием, не знал чувства меры. На западе он приказал построить дворец Уфан, на востоке — засыпать море, на севере — возвести стену в десять тысяч ли. По дорогам брели люди с обритыми головами и колодками на шеях. Каждый третий мужчина был оторван от дома и семьи.

Жил тогда юноша, по имени Ци-лян, из Хэнани. Однажды к нему пришли стражники, чтобы увести на постройку стены. Ци-лян убежал и скрылся в саду, куда до него еще не входил ни один посторонний человек. Юноша спрятался за искусственной горкой из камня и видит, как по дорожке к пруду идет девушка, красивая, словно спустившаяся с небес фея. На цветок у ее ног села пестрая бабочка. Девушка хотела ее поймать. Она вытащила шелковый платок и бросила его, но платок упал в пруд, а бабочка улетела. Девушка подошла к пруду.

— Что я вижу! Что я вижу! — закричала она вдруг. Это она заметила юношу, притаившегося за горкой.

Не знал Ци-лян, как поступить: бежать — стражники схватят; оставаться с незнакомой девушкой — неловко. Наконец он решился: вышел вперед и поклонился красавице.

— Спаси меня! Умоляю, спаси! — молвил он.

незнако-
у нее роди-
лась

— П... ...а она.— Отец скажет, как спрятаться

Отцу тоже понравился юноша. Расспросив его о родных и проверив знания, старый Мэн решил сделать юношу своим зятем и приказал в тот же день сыграть свадьбу.

Но не успел Ци-лян поблагодарить своего будущего тестя, как в дом ворвались стражники. Они увели юношу, и заплакала вся семья. Мэн Цзян поклялась не выходить ни за кого другого и непременно дождаться Ци-ляна. Целыми днями тосковала она в своей спальне и все думала о нем и досадовала, что не отправилась с любимым строить Великую стену.

* * *

Шло время, старя людей и накладывая морщины на их лица. И даже сам могущественный император был бессилен против времени. Кожа на его лице сморщилась, как кожура печеного яблока, а щелки глаз сделались еще более узкими. Он почти не покидал своего главного дворца Уфан и все реже показывался в беседке, где жила У-и, самая юная и прекрасная из его тысячи жен. Но по-прежнему Сын Неба правил, не советуясь ни с кем, и никто не смел прямо сказать ему о его ошибках. Все склонялись перед ним ниц, обманывали и лгали, чтобы добиться его милости. А он становился все более надменным и жестоким. К прежним девяти казням он прибавил еще три новые, и города Поднебесной наполнялись воплями вывариваемых в котле, раздираемых колесницами, разрубаемых пополам. Казнили не только признанных преступниками, но и всех их родственников до четвертого колена трех ветвей родства.

По-прежнему придворными льстецами сочинялись стихи о добродетельнейшем из императоров, о благодетеле и отце подданных, сочинялись по укоренившейся

тех, к...

«Все, чт... -но»,— сказал ... считавший себя ед... ...деялся, что для него судьба сдела... запретил говорить о смерти. И бесчисленные ...ники следили за выполнением этого указа столь же ревностно, как за уплатой в казну податей. Даже из документов древних царей, написанных на бронзовых досках или бамбуковых табличках, тщательно выскабливали или замазывали черной тушью иероглиф «смерть». О человеке, который скончался, стали говорить: «он отжил», «он ушел к предкам». Все кладбища было приказано загородить высокой стеной из камня, а если в местности не имелось камня, разрешалось использовать для этой цели кирпич, стволы деревьев и бамбук не ниже человеческого роста.

Император не удовлетворился тем, что запретил говорить о смерти. Он созвал ученых и магов, приказав им отыскать гриб бессмертия. Ученые обошли все леса, перерыли все горы Поднебесной и даже побывали в сопредельных странах, но лишь одному из них в указанный срок удалось отыскать какой-то необыкновенный гриб, красный, как императорская мантия, но с белыми точками. Как оказалось, этот гриб не даровал бессмертия. Ученый, которому приказали отведать гриб бессмертия, умер в страшных муках. Других ученых император на этот раз помиловал: правда, они не выполнили его воли, но они не сделали ничего, что могло бы укоротить его жизнь.

Кто-то рассказал императору о праведниках, живших двести и триста лет. Ши-хуан приказал найти этих праведников, чтобы узнать у них секрет долголетия. Вновь ученые разошлись по Поднебесной. После долгих поисков они привели во дворец какого-то древнего старца, будто бы не сделавшего ни одного злого дела и поэтому прослывшего праведником. Но, когда старец открыл рот, все увидели, что у него нет языка. Язык был отрезан еще тридцать лет назад за то, что порицал императора.

Ученые давно уже были на подозрении. Они кичились мудростью, должно быть, с тайной целью показать свое превосходство перед всеведающим монархом. Они восхваляли старину не иначе как затем, чтобы нанести ущерб новому. Они сеяли кривотолки, осмеливаясь обсуждать императорские указы. Теперь же они привели во дворец человека, который, даже зная секрет долголетия, не мог его передать. К тому же этот праведник был мятежником и бунтарем, осмелившимся порицать императора. Может быть, это намек на то, что он, император, вел неправедную жизнь и поэтому обречен на судьбу всех смертных?

Император призвал к себе сановника Ли Сы и попросил его помощи и совета. Император не был беден мудростью и мог расправиться с учеными сам. Но он знал, что в случае успеха на долю правителя приходится слава, а за ошибки несут ответственность чиновники.

Ли Сы, угадав волю императора, предложил: 1) Сжечь все книги, кроме тех, которые посвящены медицине, гаданиям и земледелию; 2) Публично казнить на городской площади тех, кто будет рассуждать о содержании крамольных книг; 3) Казнить со всем родом тех, кто, ссылаясь на древние времена, порицает настоящее; 4) Сослать на строительство Великой стены тех, кто в течение тридцати дней с момента опубликования указа не представит своих книг для сожжения.

Указ был одобрен императором и исполнен на тридцать четвертом году его правления. Сановник Ли Сы получил награду и стал первым министром.

Мудро рассудив, что уничтожение книг — это только лишь половина дела, завещанного ему Небом, император приказал Ли Сы собрать всех пишущих книги и живьем закопать их, поскольку от тех, кто в земле, нет никакого вреда. Указ был составлен Ли Сы и исполнен на тридцать пятом году правления императора.

В этом же году был разорван колесницами Ли Сы, так как его действия вызвали осуждение, и всех тех, кто его порицал, имелось так много, что их нельзя было сослать на постройку Великой стены, не нанося ущерба государству.

Император стал совсем дряхл. Нос у него запал, голос сделался хриплым, как у шакала. Уже поговаривали



о его скорой смерти и мечтали о захвате его трона. Вот тогда и явился во дворец ученый, по имени Лу Шен. Он остался в живых, потому что искал праведника за пределами Поднебесной и возвратился в столицу, когда уже с другими учеными было покончено.

Допущенный пред царственные очи, почтительно целуя протянутую ему милостиво ногу, Лу Шен сказал:

— О божественный! Я твой верный слуга Лу Шен. Много лет я искал для тебя гриб долголетия и праведников. Я обошел чуть ли не всю землю и возвратился, преисполненный мудростью. На земле нет и не было иного праведника, кроме тебя. И никого нет мудрее тебя. Ведь ты первый открыл великую истину: лишить жизни другого легче, чем продлить себе жизнь. Так как ты оставил меня в живых, я открою тебе секрет бессмертия. Праведник не мокнет, входя в воду, не горит, вступая в огонь, парит в облаках и тумане. Он невидим, как божество, и всеведущ, как оно. Пусть ни один чиновник не знает, в котором из дворцов ты живешь; пусть ни один слуга не зайдет в покой, где ты спишь; пусть никто не видит, как ты ешь,— в этом секрет бессмертия.

Император редко верил людям, но поверил Лу Шену. Он и сам знал: чем меньше подданные видят владыку, тем большим он пользуется авторитетом. Если же они его не увидят совсем, он добьется уважения, доступного одним лишь богам. Так император скрылся с глаз своих подданных, издав указ о казни всякого, кто разгласит его местонахождение. Начались страшные годы правления невидимки — так называли в народе это время. Ужас охватил чиновников. Говорили, что император инкогнито разъезжает по всей стране и никто не знает, когда придет гибель. Никогда еще в Поднебесной так строго не выполнялись императорские законы и указы. Воины не снимали доспехов и не ослабляли луков. Купцы подвозили провиант. Никогда еще сопредельные народы так не трепетали перед властью императора Поднебесной, который, даже невидимый, заставляет дрожать весь мир. И, хотя никто больше не намеревался угрожать границам империи, Великая стена росла с невиданной быстротой. Стало не хватать старых дорог. Строились новые. И по тем и другим шли тысячи тысяч обреченных на труд и на смерть.

По-прежнему придворные льстецы возносили хвалу императору, но никто не запомнил их лживых слов, потому что лживые слова подобны бабочкам, живущим один день, а правда вечнее камня. Народ сохранил в памяти песни, рожденные горем и ненавистью. «Уфан! Уфан! Сдохни, Ши-хуан»,— пел народ. «Родится мальчик — лучше не расти его. Девочка родится — рубленым мясом корми ее: не увидишь, как под стеной трупы валяются один на другом»,— пел народ.

Пролетели весна и лето, наступила осень. Во дворце Шацю появился удушливый запах. Он шел из императорской спальни. Придворные в страхе перед шпионами, могущими неверно истолковать их любопытство, долгое время боялись подходить к двери. Потом, когда вонь сделалась совершенно невыносимой, некто Цзин У высказал предположение, что в императорской спальне находится воз соленой рыбы. Болтуна схватили и доставили к главному палачу. Надо было выяснить источник слухов, позорящих его величество: император никогда не ел соленой рыбы. Но так как во время пыток Цзин У оклеветал чуть ли не половину чиновников Под-

небесной, утверждая, будто и они чувствовали запах соленой рыбы, было решено открыть дверь и проверить, что находится в императорской спальне. Со всеми предписанными придворным этикетом церемониями дверь была вскрыта. Никакой соленой рыбы за дверью не оказалось. Там был совершенно разложившийся труп владыки Поднебесной.

* * *

Идет Мэн Цзян по грязной, размытой дождями дороге и поет свою песню: «Без тебя я — как лютня, у которой лопнули струны; как дикий гусь, потерявший свою стаю; как воздушный змей, у которого оборвалась нить». По бескрайним пожелтевшим полям разносятся жалобные звуки. Им вторят осенние цикады; деревья, грустно качаясь, роняют с ветвей листья.

Идет Мэн Цзян по дороге, засыпанной колючим снегом. Безбрежная белизна сливается с небом. Голодные коршуны парят в вышине. В оврагах воют волки. Идет Мэн Цзян и поет свою песню: «Как мне холодно! Как мне тяжко! Но муж мой в северных землях, где ветер сильнее. Без одежды без теплой как он теперь?»

Ведет Мэн Цзян любовь через леса и горы. Отступают перед нею пропасти. Там, где ей надо пройти, над реками выгибаются спины мостов. Не трогают девушку лютые звери. Хищные птицы указывают ей путь.

Вот она у стены. Как тени, бродят люди с лопатами и кирками. Ветер валит их с ног. Свистит бич стражника. Подошла Мэн Цзян к стражнику и сказала:

— Моего мужа зовут Ци-лян. Я принесла ему теплую одежду.

Расхохотался стражник и показал на белые кости, лежавшие под стеною, словно горы.

И поняла женщина, что напрасно проделала свой путь: не нужна костям теплая одежда. Упала Мэн Цзян на землю и зарыдала. В то же мгновение налетел сильный ветер, черный туман окутал стену, и стена обрушилась, обрушилась от плача и слез.

И остались от Великой стены одни жалкие обломки, а Мэн Цзян и ее любовь живут в песне. Поют эту песню уже две тысячи лет.

## ДОРОГА

Сатерн смотрел на дорогу, уходившую к невысоким пологим холмам и терявшуюся среди них. Издали она казалась гладкой, словно стальное лезвие. Ни единой выемки и шероховатости. Каменные плиты вросли в землю и стали такой же частью ландшафта, как холмы, поросшие порыжелой травой, пинии или небо.

На четырехколесной повозке умчался императорский курьер. Ему перепрягли лошадей в несколько мгновений. За ним укатил немолодой торговец благовониями, пахнущий, как Счастливая Аравия. Для него тоже нашлись свежие лошади. На собственных мулах важно проехал какой-то богатый провинциал с бесчисленной свитой рабов. Его крытая коляска сверкала золотой обивкой. Занавеси были из тончайшего шелка, который привозят в империю из страны серов[1]. Сытые мулы покрыты пурпурными тканями. Впереди скакали скороходы, чтобы устранить все, что может вызвать остановку или зедержку. Все торопились в Рим. Никого не привлекал постоялый двор в стороне от дороги, где можно было не только переменить коней, но за небольшую плату получить обед с вином.

Постоялый двор назывался «Колесо», и кривое колесо со спицами было изображено на потускневшей медной доске, предусмотрительно установленной у входа. Эта доска, согласно императорскому рескрипту, должна была содержать перечень всех услуг, которые могут быть предложены путешественнику, с указанием их стоимости. Сверх того, в самом ее низу уместилось короткое приветствие хозяина гостю и восхваление достоинств дома и его кухни. Никто из проезжающих не удосуживался прочесть надпись на медной доске до конца. Временем обладали лишь те, у кого не было ни лишних денег, ни собственных мулов и лошадей.

Сатерн успел прочесть доску трижды. По профессиональной привычке он подметил несколько грубейших ошибок в написании слов. Человек, вырезавший надпись, явно не учился в школе, и ферула не гуляла по его спине. Он, очевидно, был таким же невеждой, как и

[1] Сéрами римляне называли китайцев.



хозяин постоялого двора, речь которого казалась не менее грубой, чем его лицо с низким лбом преступника.

Сатерн провел на постоялом дворе ночь и присмотрелся к его порядкам. Тюфяк весь в заплатах и дырах. Вместо перьев он набит жестким речным камышом. Можно подумать, что ты спишь на ножах. Но еще хуже камыша были блохи, облюбовавшие тюфяк, и клопы, кишевшие в щелях стен и потолка. Сатерн не считал себя неженкой. Ему случалось спать и на земле, и на голых досках. Но он не выдержал яростного нападения паразитов. Ночью он встал и тихо вышел во двор, обнесенный невысоким каменным забором. Чернело небо, усыпанное мелкими звездами. Из конюшни доносился негромкий храп коней и хруст пережевываемой жвачки. Когда глаза Сатерна привыкли к темноте, он различил у ворот конюшни две длинноногие тени. Хозяин о чем-то подозрительно шептался с конюхом. До слуха Сатерна донеслись лишь слова «у оврага».

Трактирщики в этой местности пользовались недоб-

рой славой. Сатерн слышал, что они воровали у погонщиков овес, который те запасали для своих животных, подливали в вино воду и даже в сговоре с разбойниками убивали путников. Впрочем, самому Сатерну нечего было опасаться разбойников. Кошелек его пуст, а одежда ветха. Разбойникам у него не поживиться. И Сатерн предпочел бы встретиться с ними, чем возвращаться на тюфяк к клопам и блохам. Вручив хозяину последний асс, он покинул его дом и провел остаток ночи у дороги на кучке соломы, на которой, видимо, уже кто-то ночевал до него. Ночь была холодной. Потертая тога не грела. Но все же это было лучше тюфяка и зловония постоялого двора.

Он проснулся от порывистого и упорного лая собаки. Словно кто-то колотил деревянным молотком в обитую медью дверь. На высоких нотах начали свою перекличку петухи. Ветерок прикоснулся к листьям придорожных вязов, и они ответили еле слышным трепетом. Запели невидимые в ветвях птицы. Это были звуки утра, пробуждающего все живое. Сатерн протер глаза и прошептал молитву богам, возблагодарив за дарованный ими день.

Сатерн рассчитывал, что кто-нибудь из проезжающих согласится подвезти его в Рим, а там бывшие ученики дадут ему кров и помогут добраться до Мантуи. За прожитые годы Сатерн научился с первого взгляда оценивать людей. Он не рискнул подойти к торговцу благовониями, уехавшему в просторной коляске. «Вряд ли моя одежда внушит ему доверие,— подумал он.— О золотой карете провинциала нечего и думать... А вот этот как будто подойдет...»

К милевому столбу подъехала двуколка, запряженная парой лошадей темной гнедой масти. Ею правил человек в дорожном плаще и широкополой шляпе. Остановив коней, он что-то спросил у подбежавшего хозяина постоялого двора, помотал головой, видимо, в ответ на его предложение услуг. Тем временем Сатерн, стряхнув с тоги соломинки, подошел к незнакомцу. На вид ему было лет двадцать пять—тридцать. У него было смуглое лицо с тонким носом и полным ртом. Блестящие, слегка навыкате глаза смотрели немного надменно.

— Не будешь ли ты так добр,— сказал Сатерн,— подбросить меня в Рим...

— Садись,— предложил незнакомец после недолгого раздумья.— Мои лошади еще не устали, а вдвоем ехать веселее и безопаснее. Ты видишь, я без рабов. Они еще в Брундизии.

По мягкому выговору Сатерн сразу определил, что перед ним грек. Двуколка была горячей от солнца и пахла какими-то травами. Сатерн тяжело опустился на сиденье. Незнакомец натянул вожжи, и кони рванули. Колеса вошли в еле заметную колею. Повозка побежала, поскрипывая, как корзина.

— Познакомимся, меня зовут Главком,— сказал незнакомец, повернувшись к Сатерну.— Я медик.

Он произнес это с гордостью, непонятной для римлянина. Врачами в Италии были по большей части рабы и вольноотпущенники. И специальностью этой можно было гордиться не более, чем профессией учителя. Врачи, которых знавал Сатерн, были обеспечены не лучше его. У них не было собственного выезда. К пациентам они ходили пешком.

— Меня пригласил к себе Марк Луцилий,— продолжал словоохотливый эллин.— У него большое поместье под Римом. Его вилику[1] угрожает слепота, а домашний врач, придерживающийся учения Эрасистрáта, не соглашается пустить ему кровь. С тех пор как я вылечил жену консуляра Боэта, ко мне обращаются из многих городов. Я уже исцелил двух сенаторов, страдающих печенью, ни разу не видав их.

— Как же ты это делаешь? — удивился Сатерн.

— Мне шлют письма с симптомами болезни, а я направляю лекарства вместе с советами, как их принимать.

— А разве этих лекарств нет у нас в Риме?

— О! Я вижу, ты не искушен в медицине. Изготовители лекарств — невежды или грабители. Они не знают состава целебных смесей, а когда хотят приготовить их по лечебнику, становятся жертвой обмана. Поставщики сбывают им недоброкачественный товар. Уважающий

---

[1] Вилик — управляющий виллой; часто раб или вольноотпущенник.

себя медик сам приготовляет лекарство. У меня есть все, из чего его составляют. Я совершил путешествие на Кипр за медным купоросом и белой цинковой окисью. Мой приятель-киприот дружит с прокуратором рудников у Тамасса. Свинцовый блеск я получаю из залежей, что между Пергамом и Кизиком. С берегов Мертвого моря я привез асфальт и пористые горючие камни. Оливковым маслом меня в изобилии снабдил отец. Да и сам я в молодости запас его немало. Лечебными свойствами ведь обладает лишь выдержанное масло.

— А какое дело ведет тебя в Рим? — спросил грек после короткой паузы.

— Я еду в Мантую,— сказал Сатерн.— Хочу поклониться родине Виргилия.

Главк промолчал. Но, судя по выражению его лица, он счел это дело не приносящим выгоды и поэтому не заслуживающим внимания серьезного человека.

— Ты учитель? — спросил Главк, переходя на греческий язык.

— Я был им,— отвечал Сатерн по-гречески.— Теперь у меня ослабели руки и голос. Не справляюсь с сорванцами.

— Да...— как-то неопределенно сказал Главк.— У наставника молодежи много забот, а гонорар невелик. У нас в Пергаме учителя не зарабатывают и на сандалии.

Он, видимо, хотел добавить что-то еще, но в это время со стороны оврага правее дороги послышался слабый стон.

— Останови коней,— молвил Сатерн.— Ты слышишь, кто-то стонет.

— Это опасно,— сказал Главк, пугливо озираясь.— Я слышал, в этих местах пошаливают разбойники.

— Помогите! — послышалось из оврага.

Сатерн стал на подножку и спрыгнул. Уже перебежав кювет и спустившись в овраг, он услышал, как на дороге остановилась повозка.

На выгоревшей от солнца траве лежал совершенно голый человек. От него в глубь оврага тянулся кровавый след. Видимо, несчастный полз к дороге, истекая кровью. Его ноги и руки были в ссадинах и порезах.

Человек с усилием приподнял голову, и Сатерн с удивлением узнал в нем торговца благовониями. Всего лишь час назад он важно восседал в своей коляске, подозрительно поглядывая на стоявшего в стороне старого учителя. А теперь он с мольбой смотрит на него, ожидая помощи.

— О! — раздался голос Главка, незаметно спустившегося в овраг.— Удар по голове и касательное ранение в грудь. Мне удавалось поднимать таких больных за месяц. В гладиаторской казарме Пергама у меня была отличная хирургическая практика. Там для врача разнообразный материал, а пациенты терпеливы и нетребовательны.

Раненый с трудом повернул голову.

— Помоги мне,— сказал он слабым голосом.— Разбойники устроили здесь засаду, отобрали кошелек и одежду, но у меня дело в Риме и компаньон с деньгами.

— Лечение тебе обойдется в две тысячи сестерций,— поспешил предупредить Главк.— Я медик с большим стажем и опытом.

На лице раненого появилось мимолетное выражение досады, но он кивнул утвердительно головой:

— Хорошо! Ты получишь эти деньги.

— Я возьму тебя в свою коляску,— сказал с готовностью Главк.— Помощь пострадавшему — наш долг. Нас этому учил Гиппократ [1].

Сатерн помог Главку донести раненого и посадить его на кожаное сиденье. Для него самого в коляске не оставалось места. Он должен был идти до следующей станции пешком.

Сатерн взял свою котомку и присел на обочине дороги. Он вспомнил разговор хозяина постоялого двора с конюхом. Не об этом ли самом овраге шла у них речь? Да, дорога небезопасна для путников. Ее охраняют стражники. Римский закон угрожает грабителям распятием на кресте. Но покуда есть богатство и бедность, не выведутся убийцы и воры. Многих невольников толкают на преступление надменность и жестокость их господ. Рабы бегут и становятся разбойниками. Этот

[1] Гиппокра́т — знаменитый греческий ученый и врач.

Главк вспоминал о своей работе в гладиаторских казармах. Отличная практика! А разве не страшно возвращать людям жизнь для того, чтобы они вновь убивали друг друга на потеху толпе?

«Дорога... Дорога...— думал Сатерн.— Ты проходишь через сотни городов и селений. Тысячи человеческих судеб связываешь ты. Дорога — живая нить. Чем был бы вечный Рим без своих дорог? Прошедшие века вырезали на каменных плитах эту неглубокую колею. А что осталось от тех, кто спешил по тебе в Рим, кого гнала туда жажда славы и почестей, или нажива, или просто тоска? Марий и Сулла, Красс и Цезарь, Антоний и Цицерон для тебя такие же путники, как этот торговец благовониями или модный врач. Дорога... Для тебя нет прошлого. Мы поднимаем тебя над реками и болотами, посыпаем гравием или обкладываем гранитом. Мы даем тебе жизнь, а ты помнишь о нас не больше, чем о червях, выползающих на плиты после дождя, или крикливых воронах, сидящих на милевых столбах. Но, может быть, в этом и есть смысл нашего существования — трудиться для будущего. Дела наших рук, плоды нашего разума переживают смертных и достаются будущим поколениям, как эта дорога».

## ГЛАДИАТОРЫ

*В карцере гладиаторской казармы были обнаружены два человеческих скелета. Рядом с ними была найдена железная цепь из десяти звеньев.*

Из отчета об археологических раскопках в Помпеях.

Децебал начал понимать резкий язык римлян, словно созданный для окриков и приказаний. Первое слово этого языка — «сервус» — напоминало скрип закрывшихся за Децебалом железных ворот. Так римляне называли рабов.

Смысл другого слова — «ланиста» — ему разъяснили удары бичей и холодный каменный пол тюремной каморки, куда бросили избитого, истерзанного пленника. Децебал не позволил этому толстому римлянину, который назывался ланистой, запустить себе пальцы в рот, чтобы проверить, целы ли зубы. Ланиста — не имя, а профессия. Толстяк был владельцем школы, где невольников учили убивать друг друга по всем правилам искусства.

В карцере Децебал узнал еще два римских слова: «аква» и «панис». Аква — вода. Ее приносили в узком глиняном сосуде с двумя ручками. Такие сосуды на родине Децебала, Дакии, назывались амфорами. Их изготовляли ремесленники, обитавшие в греческих городах у моря. Панис — хлеб. Он был грубым и тяжелым, как камень. Его давали два раза в день по куску величиной с кулак. И раз в три дня приносили миску теплой похлебки из бобов [1].

Децебалу казалось, что его сильные руки никогда не смогут держать меча.

Стены подземелья чуть ли не до потолка испещрены надписями. Целые жизни вместились в кривые строчки или отдельные слова. О чем вспоминали узники? Что они хотели доверить этим стенам? Были ли они, как Децебал, воинами, попавшими в плен, или преступниками, осужденными к смерти на арене? Децебал с трудом разбирал буквы письма, похожего на знакомое ему греческое. Кто здесь только не побывал! Клеон и Дамасий, Сир и Гатта, Монтан и Спартак. Имена эти ничего не говорили Децебалу. Он не знал этих людей, не слышал о них и, наверное, никогда не услышит. Люди, томившиеся здесь, ушли, как уходят дни в заключении, и даже не знаешь, сколько их было, этих дней, заполненных скорбью и ожиданием.

После карцера Децебала поместили в жилую камеру. В каждой из таких камер находилось по два, по три гладиатора — людей, которые должны были убивать друг друга гладиусами — короткими римскими ме-

---

[1] Гладиаторов кормили хлебом из ячменя, считавшимся более сытным и полезным для здоровья. Отсюда шутливое прозвище гладиаторов — «ячменники». Обычной их пищей были также бобы.

чами[1]. Камеры не имели окон, а двери их выходили на внутреннюю галерею. Римляне продумали всё, чтобы отгородить гладиаторов от внешнего мира и помешать их бегству. На ночь двери камер закрывались, и вокруг двора, под колоннадой, ходила вооруженная стража. Днем же, когда опасность бегства была меньшей, охранялись лишь единственные ворота казармы.

Камера, куда поместили Децебала, находилась на первом этаже. У стен стояли три деревянные лежанки. Децебалу досталась та, что против двери. Справа от него было место сирийца Кирна, человека лет тридцати, с удлиненным лицом и широкой грудью. Слева спал иудей Давид. Это был худощавый, стройный юноша со шрамом на лбу. Позднее Децебал узнал, что Давид был захвачен римлянами в осажденном Иерусалиме и вместе с другими юными сильными иудеями отдан в гладиаторы[2].

Перед сном гладиаторы молились своим богам. Кирн вырезал божка из дерева и на ночь смазывал его маслом. Децебала удивило, что Давид молился, уставившись в пустоту, что он не обещал своему богу жертв и даров, как это делал Кирн. Потом, когда Децебал ближе познакомился с Давидом, он узнал от него, что бога иудеев нельзя увидеть, если только он не примет образ человека. Не так давно, по словам Давида, иудейский бог принял вид сына плотника из Назарета — Иисуса Христа. Римские власти распяли Христа, но он воскрес. Давид называл себя христианином. И еще он говорил, что его бог лучше всех других, потому что он не нуждается ни в быках, ни в овцах, ни в других приношениях, а награждает тех, кто делает добро людям.

Этого Децебал не мог понять. Разве можно заслужить милость бога, не принося ему жертвы? Да и слыхано ли, чтобы бог принял облик бедняка и погиб на кресте рабской смертью!

---

[1] Конечно, гладиаторы убивали друг друга не только мечами, но и другим оружием. Но слово «гладиатор» произошло от «гладиус», что означает меч.

[2] Иерусалим был захвачен войсками императора Тита в 71 г. после упорной кровопролитной войны. Тысячи пленников были убиты, многие сотни отправлены в египетские каменоломни или отданы в гладиаторы.

Вера Давида настолько отличалась от других вер, что вызывала недоумение и насмешку. Однажды, когда Децебал вместе с Кирном вышел из камеры, он увидел, что кто-то нарисовал на стене иудейского бога в виде длинноухого осла, пригвожденного к кресту. Наверное, повод художнику дал сам иудей. Он сказал как-то, что Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. «Может быть, у бога такой вид, что христиане стыдятся его изображать?» — думал Децебал.

Многие потешались над иудеем и его богом. Что касается Кирна, то он просто-таки издевался над ним. Сирийца раздражала каждая мелочь во внешности и поведении Давида. Он всерьез уверял, что иудей натирается чесноком вместо оливкового масла, выдававшегося гладиаторам для умащения тела. Он не мог спокойно видеть, как Давид кормит голубей, напоминавших ему ту жизнь, к которой он не мог вернуться. Давид считал, что, как и все твари, голуби были угодны его богу, хотя он и не нуждался в их крови. Голуби слетались к иудею со всей казармы и настолько к нему привыкли, что садились на голову и плечи. Бормотание Давида во время молитвы доводило сирийца до бешенства. Он осыпал иудея такой руганью, словно не кто иной, как Давид, навлек на них несчастья и обрек на страдания. Однажды Кирн бросил в Давида тяжелый камень и, наверное, попал бы в него, если бы иудея не оттащил в сторону нумидиец Юба. Юба относился к числу тех немногих, которые не издевались над иудеем.

К удивлению Децебала, присматривавшегося к своим соседям по камере, насмешки и издевательства не трогали иудея. Казалось, Давид был одет в непроницаемую броню. Он не отвечал сирийцу, а когда тот выходил из себя, лишь успокаивал его.

— Не гневи бога,— говорил он ему.— Христос терпел больше, чем мы с тобой. Когда его били римские воины, он сказал: «Не ведают, что творят», а разбойников, приговоренных к казни, он утешал, как братьев.

Даже предстоящие схватки на арене не выводили Давида из состояния внутреннего спокойствия и доброжелательства к людям. Перед тем как идти на арену (откуда возвращались немногие), он просил Децебала, чтобы тот не забыл покормить голубей, если он не



вернется. И в глазах его было столько доброты, что сдержанный и суровый дак не мог ему отказать. Впрочем, Децебалу ни разу не пришлось выполнить просьбу иудея. Из всех схваток Давид неизменно выходил невредимым. У многих гладиаторов возникло подозрение, что у Давида имеется какой-то амулет, спасающий от смерти и ран. Кирн ночью обшарил спящего иудея, но не нашел ничего. Тогда все решили, что все дело в каком-то особом заговоре, который знал иудей.

Единственно, чего не выносил Давид, так это разговоров о пуэллах. Как только гладиаторы начинали хвастаться друг перед другом своими похождениями, иудей краснел, как девушка, и немедленно уходил. Фракийца Келада, пользовавшегося особым расположением у женщин и прозванного «божеством пуэлл», Давид обходил стороной.

Дочерям и женам торговцев фруктами или погонщиков мулов нравились эти люди, напоминающие телосложением Геракла — великого героя, совершившего много подвигов и давшего название городу[1]. И у кого бы не вызвали восхищения мужество и отчаянная храбрость!

О чем говорили мужчины в банях, на форуме, дома, как не о гладиаторах? На кого они ставили ставки, рискуя всем своим скудным состоянием, как не на этих фракийцев, галлов, бритов, даков? Из-за кого они вступали в драки, отстаивая своих любимцев от обвинений в трусости или неопытности? Однажды во время стычки из-за гладиаторов в помпейском амфитеатре погибло несколько человек, и император специальным указом запретил в течение десяти лет устраивать гладиаторские игры в Помпеях. И лишь три года назад кончился срок запрета.

Гладиаторов воспевали поэты. Их изображали художники. Сцены гладиаторских боев можно было видеть на горшках, блюдах, лампах и чашках, а объявления о предстоящих схватках не только на стенах домов, но и на гробницах за городом. Казалось, страсть к амфитеатру не оставляла в покое даже мертвых. И не было ничего удивительного в том, что помпеянки толпились у ворот гладиаторской казармы, заглядывая в щели, просовывая своим любимцам орехи и сладости, провожая идущих на смерть восхищенными взглядами. Ланиста не видел беды в этом поклонении гладиаторов Афродите. Тот, кто сражался на арене, был смелее, если знал, что в толпе зрителей — та, что ждет и любит. Взгляд пуэллы заменял бич и раскаленный железный прут служителя[2]. Ланиста не опасался любви. Он боялся дружбы.

* * *

На дворе казармы появились первые зеленые былинки. Согреваемые мартовским солнцем, они пробились из-под камней, тонкие и трогательные. Скоро наступит

[1] По преданию, город Помпéи получил название от «помпы», с которой Геракл праздновал победу над противником. Соседний город Геркулáнум получил имя от Геракла.

[2] На арене уклоняющихся от боя гладиаторов подгоняли бичом и раскаленным железом.

веселый праздник Квинкватр. На улицы города выйдут валяльщики, пекари, горшечники и другие ремесленники. Все они будут в праздничных одеждах. Они понесут стяги своих коллегий[1], украшенные цветами орудия своего ремесла. Они выйдут на улицы, чтобы прославить покровительницу ремесел Минерву. Сколько радости принесет этот день детям! Их отпустят с занятий. Сопровождаемые родителями, в тщательно выглаженных претекстах, причесанные и вымытые, они отправятся к учителям, чтобы вручить им плату, называемую «даром Минервы».

Но не все ожидали с нетерпением наступления праздника Квинкватр. На следующий день после этого всенародного торжества в амфитеатре давались гладиаторские бои. Весна была ненавистна несчастным обитателям казармы. Яркая весенняя зелень, птичий гомон, ласковое тепло солнца, запах просыпающейся земли — все это были вестники смерти.

Римляне недаром назвали первый весенний месяц мартом. Март — это месяц Марса, бога войны. Марса не радует синева неба, зелень лугов, розовато-белые цветы яблонь. Ему нужна багрово-красная кровь. Поэтому пленники должны сражаться на арене и убивать друг друга...

Смерть пока не угрожала Децебалу. Он еще новичок и не обучен искусству боя. Но что может быть страшнее пытки видеть, как Марс пожирает твоих друзей! Еще на родине Децебал слышал греческую сказку о мореходах, попавших в пещеру людоеда. Один из них, как будто его звали Одиссеем, дал людоеду вина. В виде милости людоед обещал съесть Одиссея последним. Тяжело было Одиссею видеть, как гибнут его друзья. Но ведь он не сложил рук. Он обманул людоеда и выбрался из пещеры. Он вывел уцелевших друзей. Почему же должен бездействовать Децебал? Но что он может сделать один? Ему нужен друг и верный помощник.

Децебал подружился с нумидийцем Юбой. Это был смуглый широкоплечий юноша с пышной копной волос на голове. Децебал проводил с ним все время, свобод-

[1] Коллегии — объединения ремесленников по профессиям. Коллегии Помпей хорошо известны по сохранившимся надписям.

ное от утомительных и однообразных упражнений на соломенных чучелах и деревянных чурбанах. Юба рассказывал Децебалу о просторах степей, не тронутых плугом, о быстрых скакунах, об охоте на львов.

В Риме ценили гладиаторов по числу выигранных ими боев. Против имени Юбы в списке ланисты стояла римская цифра VII. Иудей Давид участвовал в пяти боях. Он был под номером V. Но знатоки утверждали, что иудей не уступит нумидийцу в силе броска и меткости удара. К тому же он одинаково владеет правой и левой рукой.

До сих пор ланиста не выставлял иудея и нумидийца в паре. Зачем ему терять хороших бойцов? Каждый из них стоит втрое больше наскоро обученного новичка. Но, если ланисте хорошо заплатят, он не устоит. Это знали все. Знал это и Децебал, мечтавший бежать вместе с другом в Нумидию. Нумидия была ближе, чем Дакия. Стоит лишь найти корабль и кормчего, который бы взял их на борт.

Но Юба посмеялся над Децебалом, когда тот предложил план бегства.

— Заведи себе лучше пуэллу. Здесь ты добьешься больше успеха. Я видел, как на тебя заглядываются женщины. Поверь мне, ты забьешь Келада.

Децебал обиженно отвернулся.

— Как ты можешь шутить?

— Я не шучу,— ответил нумидиец.— За те три года, что я в Помпеях, из нашей казармы бежало шестеро. И все были пойманы. Они прокляли тот час, когда им пришла мысль о бегстве. Наш ланиста родился под созвездием Андромеды[1]. Вспомни Кирна!

Случай с Кирном произошел на глазах у Децебала. Сириец не думал бежать, а просто задержался в казарме и вовремя не оказался на перекличке. Ланиста так избил его железной палкой, что Кирн долгое время не мог пошевелиться. Несколько дней Давид ухаживал за сирийцем и вернул его к жизни.

И тогда произошло неожиданное. Кирн прекратил

[1] Согласно поверью, под созвездием Андромеды рождались палачи и жестокие люди. Андромеда — мифический персонаж, дочь эфиопского царя, прикованная к скале по приказанию бога морей Посейдона и освобожденная греческим героем Персеем.

свои нападки на иудея. Кирн и Давид сделались друзьями. Однажды Децебал увидел, как они оба стоят на коленях и умильно молятся невидимому христианскому богу.

* * *

Пришел веселый Квинкватр, а вместе с ним желанный для всех жителей Помпей день гладиаторских боев. И не только для них. Еще вчера из соседних городков Нóлы и Нуцéрии в Помпеи нахлынули любители кровавых зрелищ. Их привлекло известие, что устроитель игр Помпедий Руф[1] выставляет на арену тридцать гладиаторов помпейской школы, и среди них известных по схваткам прошлых лет Юбу и Давида. Люди шли по узким улицам к городскому амфитеатру, украшенному по случаю праздника ветками лавра и цветами. То в одном, то в другом месте над головами плыли крытые носилки, скрывавшие от любопытных взоров знатную матрону или богатого старика. В толпе сновали торговцы, предлагая соломенные подушки для сидения, шляпы и зонтики от солнца или дождя, павлиньи веера для защиты от докучливых мух. Глашатаи, приложив ко рту загорелые ладони, кричали: «Не забудьте посетить амфитеатр! Будут сражаться нумидиец и иудей! После состоится бой зверей!»

Хищников, пойманных в отдаленнейших провинциях, уже привезли в город. Клетки стояли прямо под открытым небом. Около них толпились зеваки, наслаждаясь невиданным зрелищем. Давно уже в Помпеях не было такого стечения народа. Толпа с шумом ломилась в амфитеатр, чтобы занять лучшие места. В ложах видели даже двух римских сенаторов. Они прибыли в город из своих поместий под Неаполем. Ланисте было от чего потерять голову!

По случаю предстоящего праздника гладиаторов выпустили из камер и освободили от занятий. Да и кто мог с ними заниматься, если ланиста и все учителя фехтования сегодня в амфитеатре. В казарме остались одни стражники, проклинавшие свою судьбу: им приходилось

[1] Устроителем игр называли должностное лицо или частного человека, бравшего на себя расходы по организации гладиаторских игр.

наблюдать лишь учебные бои тупым оружием, которым можно было избить, но не убить[1].

Разделившись по двое, по трое, гладиаторы отдыхали во дворе казармы. Они подставляли спины и бока весеннему солнцу, радуясь ему, как дети. Под колоннами портика был накрыт стол с тем богатством и разнообразием яств, которые были необычны для казармы. Устроитель игр, которому ланиста продавал гладиаторов, угощал смертников за свой счет. Это был древний, освященный веками обычай, от которого никогда не отступали. Хлеб за кровь!

Децебал давно уже заметил, что человек может привыкнуть ко всему. И многие свыклись с мыслью, что погибнут на арене. Смерть ожидает каждого. От нее не уйти. Она настигнет тебя в постели, на поле боя, на корабле. И если суждено умереть на арене, надо встретить смерть с достоинством, так, чтобы ни один из зрителей не назвал тебя трусом, а товарищи вспоминали: «Вот это был боец!»

Среди сотни гладиаторов, отдыхавших во дворе казармы, было тридцать, которым сегодня предстояло сражаться на арене. И эти тридцать знали, что большинству из них не вернуться в казарму. Но если бы во двор впустили постороннего человека, то он не смог бы указать на смертников.

Децебал, сидевший рядом с Юбой, был более взволнован, чем нумидиец. Время от времени мрачная тень пробегала по лицу Децебала, и он крепко стискивал зубы, словно сдерживая готовый вырваться крик. Нумидиец старался рассеять дурное настроение друга.

— Мне давно хотелось рассказать тебе одну историю,— начал Юба.— Я слышал ее от грека Дамасия за день до того, как он отправился в Аид[2]. Видишь эту гору? — Юба показал на видневшийся в проеме ворот Везувий.— Туда из гладиаторской школы в Капуе бежало восемьдесят гладиаторов во главе со Спартаком. Ты слышал о Спартаке?

[1] Острое оружие гладиаторы получали лишь на арене. Это была предосторожность, вызванная страхом перед гладиаторами, особенно со времени Спартака. Тупое оружие было тяжелее острого.

[2] Аид — по поверью греков, подземное царство, где находятся души мертвых. Отсюда слово «ад».

— Нет,— хмуро ответил Децебал.— Но я прочел его имя на стене карцера. Кто этот Спартак?

— Спартак был фракийцем, он попал в Капую и там подговорил гладиаторов бежать. С ним заодно было двести друзей. На волю вырвалось лишь восемьдесят. На вершине этой горы Спартак скрывался несколько дней, а когда римляне заняли единственно удобный спуск с Везувия, он не растерялся. Из ивовых прутьев и виноградных лоз была сплетена длинная, прочная лестница. Беглецы спустились по ней в том месте, где их не ждали. Римляне были разбиты. Узнав об этой победе, сотни и тысячи рабов бежали от господ и присоединились к Спартаку...

— Собираться! — послышалась команда.

Юба встал. Обняв друга, он сказал:

— Если останусь жив, закончу рассказ, а если нет...— Он махнул рукой.

Амфитеатр был неподалеку от казармы. В ее двор проникал шум боя, хотя высокие стены не позволяли ничего видеть. Вот раздались мрачные звуки трубы — сигнал к борьбе острым оружием. По гулу многотысячной толпы можно было понять, что на арену вступили гладиаторы. Децебал представил себе сверкающие на солнце мечи, шлемы с развевающимися перьями. Гладиаторы обходят арену, приветствуя зрителей. Рог. Гладиатор бросает вызов своему противнику. Кто в первой паре? Децебал не мог этого знать. Но он был уверен. что не Юба и Давид. Опытный ланиста приберегает лучших бойцов под конец. Так говорили те, кому удалось победить и остаться в живых. А бывали случаи, когда публика великодушно сохраняла жизнь побежденному. А вдруг произойдет чудо и вернутся оба, нумидиец и иудей? Яростные крики разорвали тишину: «Убей, секи, жги его!» Видимо, толпе показалось, что один из гладиаторов недостаточно смело идет в бой или избегает схватки. Зрители требовали, чтобы труса гнали на меч раскаленным железом. Вопль, раздирающий уши... Звуки флейт. В это время служители крючьями уволакивают труп и засыпают арену свежим песком. И снова рог. Крики. Гул, аплодисменты. Рог. Флейты. Рог. Рог. Рев зверей, разъяренных запахом человеческого пота и крови. Эти львы и леопарды, терзающие тела,— жалкие

щенки в сравнении с людьми, наслаждающимися зрелищем смерти.

А потом мимо стен казармы повалила толпа. В камеры, куда загнали Децебала и других узников, не участвовавших в схватке, доносились шарканье подошв и голоса. О чем говорили эти люди, возвращающиеся к родным очагам? Может быть, они делились впечатлениями об искусстве бойцов или проклинали устроителя игр, не пожелавшего выставить на арену еще несколько пар гладиаторов? Или они восхваляли его за щедрость и обещали соорудить ему памятник на общественный счет? Кто-то за стеной сильным и красивым голосом затянул песню. Неужели бывшим там доступны человеческие чувства и они могут ласкать детей, любоваться природой, петь песни?

Децебал вскочил и заметался по камере. Он едва не опрокинул Кирна. Сириец сидел на полу и под нос бормотал молитву, слегка покачиваясь, как это делал Давид. Кирн возносил хвалу богу, тому самому невидимому и непонятному богу, о могуществе и справедливости которого так красноречиво говорил иудей. «Что же это за бог,— думал с раздражением Децебал,— если он бессилен спасти тех, кто в него верит? И кому нужны все эти молитвы, если они ни на шаг не приближают к свободе?»

Лишь на следующее утро Децебал и другие оставшиеся в казарме гладиаторы узнали о том, что впоследствии долго давало пищу толкам и пересудам в маленьком городе.

Юба и Давид составили пятую пару. Иудей превзошел самого себя. Он сражался, как барс, и чуть не загнал Юбу в ложу, где сидели отцы города. Его меч сверкал как молния. Но в то мгновение, когда все ожидали гибели нумидийца, Давид пронзил себя мечом и упал к ногам своего противника. Подобного не видывал никто в Помпеях. Гладиаторы нередко кончали самоубийством. Одному из них удалось покончить счеты с жизнью в то время, когда его везли в повозке к амфитеатру. Он притворился спящим. Голова его опускалась все ниже и ниже, пока, наконец, он не просунул ее между спицами колеса. Это случилось в Капуе. Двое гладиаторов в Риме повесились на веревках, сплетенных из

одежд. Говорят, что это были просто трусы. Но иудей показал храбрость и искусство. Он закололся, чтобы бросить вызов толпе, чтобы лишить ее захватывающего зрелища, чтобы выразить ей свое презрение. И толпа ревела, требуя продолжения борьбы. Еще немного — и зрители бросились бы на арену и разорвали Юбу, словно нумидиец был виновен в том, что избежал смерти. Чтобы успокоить толпу, устроитель игр выставил на арену фракийца Студиоза, равного которому не было среди гладиаторов. В схватке погибли оба — Юба и Студиоз. Устроитель игр рвал на себе волосы. Потерять трех первоклассных бойцов в один день! И толпа шикала и свистела до самого конца игры.

* * *

Децебал все чаще и чаще смотрел на Везувий, мысленно возвращаясь к рассказу Юбы. До самой вершины гигантская гора была покрыта деревьями и кустарником, и только раздвоенная вершина была пепельной, в расщелинах — цвета жженого кирпича. Где-то там прятался Спартак. Нет, не прятался, а гордо стоял, бросая вызов Риму. Теперь Децебал знал, что Спартак не был узником, нацарапавшим свое имя на стене карцера в Помпеях. Он сражался на арене в Капуе. Но, видимо, кто-то из помпейских гладиаторов слышал о великом фракийце и искал в воспоминаниях о нем того же, что находили Давид и Кирн в молитвах,— утешения.

Децебал был не из тех, кого могла утешить сказка о смиренном Христе. Его душой завладел Спартак — мятежный фракиец. Он звал его душу к борьбе и мести. Но какова судьба Спартака? Вывел ли он восставших из Италии или погиб вместе с ними в неравном бою? Никто из гладиаторов этого не знал. Никому из них не было известно даже имя Спартака, словно римляне постарались вытравить память о нем. Лишь один Келад при упоминании о земляке оживился.

— Ты говоришь, Спартак? Я знавал человека с этим именем. Он шел с рогатиной на медведя, и медведь оторвал ему левое ухо. Мы с ним побились об заклад, кто больше вина выпьет, и, представь себе, мне удалось...

Децебал не стал дожидаться, когда Келад закончит свой рассказ. Его не интересовал Спартак-медвежатник.

В июльские календы в казарму прибыла новая партия гладиаторов, и все понимали, что день схватки на арене недалек. Вновь прибывшие были опытными бойцами из школы в Пренéсте. И у Децебала появилась надежда: может быть, кто-нибудь из них знает о Спартаке. И он не ошибся. О Спартаке слышал Марк Артóрий. Это был человек необычной судьбы. В гладиаторские казармы и на арену Артория привело не преступление, за которое свободного человека иногда лишали свободы, а жажда приключений. С детства Арторий бредил амфитеатром и знал всех знаменитых гладиаторов. Не проходило ни одного представления в Капуе или в Риме, на котором бы он не побывал. После смерти отца Арторий сам явился к ланисте римской школы, предложив свои услуги. Его заставили принести клятву в том, что он позволит бить себя розгами, жечь огнем и убить мечом. К товарищам по ремеслу Арторий относился с некоторым пренебрежением, так как он не был «варваром» и сражался в римском амфитеатре в присутствии самого императора Нерона.

— Спартак? Знаю, знаю...— снисходительно и равнодушно ответил Арторий дрожащему от нетерпения Децебалу.— Из школы Лентýла Батиáта в Кáпуе. Недурно владел мечом. Сражался без забрала. Но в Риме бы его засмеяли. Куда ему до юлианцев! [1] Я видел бойцов капуанской школы. Щенки! Двойным выпадом не владеют. А еще хвалятся, что из школы, где был рудиарием [2] Спартак.

— Ну и как, освободил он рабов? — тихо спросил Децебал.

— Каких рабов? Нужны мне твои рабы! Разве раб может сражаться, как свободный?

Это все, что удалось Децебалу выжать из Артория.

---

[1] Юлианцами называли гладиаторов из школы, основанной Гаем Юлием Цезарем в Риме.

[2] Гладиатор, проявивший искусство и мужество в бою, мог получить почетную награду — рапиру, с которой связывалось освобождение от боев на арене. Такой гладиатор назывался рудиáрием. Он не получал полной свободы и обычно использовался ланистой для обучения новичков.

Может быть, римляне уже забыли о великом восстании рабов? Или Арторию известна одна лишь история фехтовального искусства?

Очень мало узнал Децебал о Спартаке. Но все же образ великого фракийца стал вырисовываться полнее и определеннее. Среди учителей фехтования в школе было немало рудиариев. Это настоящие цепные псы, признававшие лишь своего господина-ланисту. Чтобы выслужиться и получить полное освобождение, они притесняли новичков, издевались над ними. «Спартак был не таким,— думал Децебал.— Ему, получившему рапиру, не угрожала смерть на арене. Но он заботился не о себе. Он хотел завоевать свободу для всех».

И снова Децебал смотрел на Везувий, словно на его вершине таилась не только разгадка заинтересовавшей его истории давних времен, но и его собственная судьба.

То, что Децебал не сводит глаз с Везувия, не ускользнуло от внимания гладиаторов. Они решили, что дак, по обычаю предков, молится духу горы, ожидая от него помощи и спасения. И они были не далеки от истины. Какая-то сила приковывала мысли и чувства Децебала к этой вершине и к Спартаку. Он вспоминал рассказы Давида о своем боге. Бог Давида спустился на землю и покорно погиб на кресте, хотя ему, великому и могущественному, ничего не стоило разметать палачей. Что же тогда делать людям, не обладающим могуществом богов? Подражая Христу, покоряться силе и судьбе? Или ждать помощи божества, как ждал ее Давид? И не дождался. Спартак, человек он или бог, сильнее Христа и благороднее его. Он поднялся на эту гору, чтобы зажечь факел свободы.

* * *

Однажды богатый помпеянец Гай Си́львий Фе́ликс вздумал заменить в перистиле тяжелую мраморную статую другой. По его просьбе ланиста отправил к нему двух гладиаторов и стражника для надзора за ними. Жребий пал на Децебала и Келада.

Впервые Децебал в городе, за пределами казармы[1].

[1] Гладиаторская казарма находилась в Помпеях близ Ста́биевых ворот, у самого въезда в город. Поэтому Децебал не проходил через город в день своего прибытия в Помпеи.

Сандалии на деревянной подошве колотят по плитам мостовой. На улицах ни деревца, ни кустика. Слепые стены как бы повернувшихся спиной к улице домов — им нет дела до тех, кто бредет по мостовой, стуча деревянными подошвами. Надписи, взывавшие к гражданскому долгу: «Погонщики мулов, отдайте свои голоса за Клавдия!» Можно подумать, что перевернется мир, если полюбившийся погонщикам Клавдий не будет избран в городской совет.

А вот и извещение о бое, в котором погибли Юба и Давид. Краска на буквах уже потускнела, но все же можно различить слова: «Будут биться нумидиец и иудей. Состоится также бой зверей. Да здравствует устроитель игр Помпедий Руф!»

Из двухэтажного дома на перекрестке доносился запах свежевыпеченного хлеба. Повеяло чем-то родным. Но Децебал слышал, что в подвалах таких милых, уютных, вкусно пахнущих домов рабы крутят день и ночь тяжелые каменные жернова. Булочники в праздники увешивают шеи ослов и мулов связками румяных хлебов. А рабам у мельницы они жалеют горстки муки. Чтобы невольники не могли поднести рук ко рту, им надевают на шею деревянные рогатки, как хомуты. Таков этот городок, раскинувшийся под вечно голубым небом Кампании, у подножия зеленого Везувия.

Вот и дом Сильвия Феликса. Над входом надпись: «Гай Сильвий Феликс приветствует дорогих гостей и желает им счастья и долголетия». А у порога, на неровной, изъеденной временем каменной плите, сидит человек с взлохмаченной головой. Цепь от его ноги тянется к медному кольцу, прикрепленному к стене. Это раб-привратник. Сколько ему лет? Тридцать или пятьдесят? Да и знает ли он сам об этом? Запомнил ли он свое настоящее имя? Откликается ли на кличку Рекс или Карнэ, как сторожевые псы?

Миновав полутемный коридор, называемый вестибулом, Децебал вступил в высокую просторную комнату. Разноцветные кусочки мрамора, искусно подобранные художником, изображали море с бегущими по нему кораблями, поросший лесом гористый берег и причудливой формы облака. В том месте, где в комнату входило небо, крыша поддерживалась шестью колоннами. Внизу,

в пространстве между ними, находился четырехугольный бассейн со стенками, выложенными розоватым мрамором. Со дна бассейна тремя тонкими упругими стойками бил фонтан, и вода, падая, стекала по спине и бокам прекрасной статуи, изображавшей девушку с чешуйчатым рыбьим хвостом. Сверкание воды, мягкий блеск мрамора оживляли мрачную строгость атрия — так римляне называли эту комнату, служившую гостиной.

Все стены — в красочных изображениях. Децебал скользнул взглядом по фигуре скачущего всадника с дротиком в бедре. Судя по щиту и шлему, это гладиатор, хотя и не видно, что художник хотел показать бой в амфитеатре. И вдруг Децебалу бросилось в глаза крупное, отчетливо выписанное слово: «Спартак». Не веря себе, он прочел еще раз. Нет сомнений, всадник — вождь восставших рабов, человек, судьба которого после рассказа Юбы стала казаться Децебалу частью его собственной жизни и судьбы.

— Скажи,— обратился Децебал к стражнику,— кто господин этого дома, хранящего память о великом Спартаке?

Стражник обомлел.

— Ты что, спятил, собачий корм? — заорал он, занося кулак.— Я тебе покажу Спартака! На крест захотел?

На шум из перистиля вышел человек лет сорока. Его голова с оттопыренными ушами, казалось, не имела шеи, а глаза со вспухшими веками были выпучены, как у совы. Он переводил взгляд со стражника на Децебала, видимо решая, кто из них затеял спор.

— Я слышал, тут было названо имя Спартака,— хвастливо сказал он наконец неестественно тонким голосом.— Победа над Спартаком прославила моего прадеда, Марка Сильвия Феликса, служившего центурионом в войске Публия Красса — будущего консула и триумвира. Сам доблестный Красс наградил победителя золотой короной и ввел во всадническое сословие. Я приказал изобразить эту сцену, чтобы каждый переступающий порог дома знал, что здесь обитает внук героя, спасшего Рим от презренных гладиаторов. Видишь, вот мой дед.— И он показал на фигуру другого всадника, на которую раньше Децебал не обратил внимания.— Благодаря ему вздохнула свободно вся Италия...

* * *

Децебал смотрел на Везувий. Ему казалось, что он вдыхает запахи овечьих отар, пасшихся на зеленых склонах. Эта гора напоминала вершины родных Карпат, где он бродил с пастушеской дудкой, с котомкой за плечами. Он вспоминал луга, покрытые сочными травами и пестрыми цветами, гомон птиц, жужжание пчел и стрекотание кузнечиков — звуки и голоса утраченной свободы. Они были заглушены топотом ног, отрывистыми выкриками на чужом языке. В горы пришли римляне, и Децебал стал пленником, как и Спартак. Фракиец, наверно, был тоже пастухом и пас овец или коней в горах своей страны. Децебалу казалось, что он видит тот отвесный склон, по которому спустились отважные гладиаторы на сплетенной из прутьев лестнице. Лестница раскачивалась над пропастью, то и дело задевая острые выступы скал. Но каждое мгновение приближало Спартака к свободе...

Когда гладиаторы оставались одни, Децебал рассказывал им о храбром фракийце. Воображение дополняло ему то, чего он не мог знать. С горящими глазами слушали гладиаторы рассказы Децебала о схватках Спартака под стенами самого Рима, о его победах над прославленными римскими полководцами. Как радовались они, узнавая, что Спартак заставил надменных римлян сражаться друг с другом и с дикими зверями. Было ли это так? Никто об этом не задумывался. Но как только Децебал начинал говорить, что и они должны последовать примеру Спартака и добыть себе свободу мечом, огонь в глазах слушателей угасал. Бегство казалось им невозможным.

Многие прислушивались к Кирну.

— Братья мои,— говорил Кирн гладиаторам,— не меч принесет нам спасение, а терпение и любовь к ближнему. Христос скоро вернется на землю и воздаст каждому по делам его. Чаша гнева божьего выльется на Рим и испепелит тех, кто заставлял проливать нас кровь на аренах, кто испускал крики радости при виде наших мук.

Децебал понимал, что, воскресни даже сам Спартак, такие, как Кирн, не станут его воинами. Но он продолжал искать себе единомышленников. И первым из них оказался Келад.

Рассказы Децебала о храбром Спартаке пробудили во фракийце чувство человеческого достоинства, которое старались заглушить в казарме. В этом был повинен и Марк Арторий. Римлянин почему-то невзлюбил фракийца и как только мог поддразнивал его:

— Эй, Келад, много ли пуэлл победил? На это вы, фракийцы, способны. А от первого свободнорожденного римлянина побежите без оглядки.

И Келад решил доказать, что фракийцы способны на многое. Для Децебала он был находкой. Через своих пуэлл Келад мог достать все. Заговорщикам было прежде всего необходимо оружие. Преданная Келаду рабыня раздобыла три гладиуса и переправила их в казарму вместе с дровами для кухни. Она же обещала напоить стражу вином. Остальное взял на себя Децебал. Он пробуравил в двери своей камеры отверстие и научился открывать через него наружный засов тонким железным крючком. Ему никто не мог помешать. Он остался один в камере. Ланиста бросил Кирна в карцер как христианина. Обычно должностные лица вызывали человека, подозреваемого в принадлежности к тайному вероучению[1], и заставляли его поклясться, что он не христианин. Но Кирн был рабом, и от него потребовали только, чтобы он в присутствии гладиаторов обругал Христа и принес жертву статуе Юпитера вином и ладаном. Кирн отказался выполнить это требование и, несмотря на пытки, не выдал тех, кто перешел в новую веру. Ланиста решил не выпускать Кирна на арену, а держал его в карцере до прибытия из Африки партии хищников, чтобы бросить им преступника на растерзание.

* * *

Как зверь в клетке, неслышными шагами бродил Децебал из угла в угол своей каморки. Что-то готовит ему эта душная августовская ночь? Его первый бой будет с римлянами. Он должен быть им благодарен. Римляне научили его владеть оружием и с презрением смотреть

[1] Христианство в I—III вв. считалось запрещенной сектой, а христиане подвергались преследованиям. Только в IV в. римские императоры поняли, что христианство более, чем любая другая религия, защищает власть богачей и оправдывает рабство.

в лицо смерти. Силу его рук узнают не товарищи по рабству, а враги. Если ему суждено пасть, он погибнет в бою с врагами, как Спартак!

Тишина, царившая вокруг, нарушалась лишь воем сторожевого пса. Его будка была у стены карцера, куда бросили Кирна. Децебал раньше не слышал, чтобы этот огромный молосский пес выл. Животное, страшное на вид, давно уже привыкло к гладиаторам и лаяло лишь тогда, когда кто-либо снаружи приближался к казарме. Этой ночью в его вое было что-то зловещее, пугающее, словно животное знало о готовящемся бегстве, предчувствовало неотвратимую беду, чью-то близкую гибель.

Вдруг какая-то сила бросила Децебала в угол камеры. Задев ногой лежанку, он невольно вскрикнул от боли. Пол заходил под его ногами ходуном. Несколько мгновений Децебал не мог понять, что происходит. Снаружи раздались крики стражников. Римляне, охранявшие галерею, отрезвели от страшного подземного толчка. Они выбежали во двор, где, им казалось, было безопаснее. Факелы дрожали в их руках, чертя в темноте какие-то огненные знаки. И так же внезапно стало удивительно тихо. Так тихо, что каждое слово стражников было слышно Децебалу даже сквозь двери.

— Клянусь Геркулесом! — воскликнул один из них.— Так же задрожала земля, когда я был мальчишкой. Меня вышвырнуло на улицу через дверь. На моих глазах вилла богатого соседа рассыпалась на куски. Все, кто там жил, погибли под обломками.

— А я был близ Неаполя,— откликнулся другой стражник.— У нас в щель провалилась отара баранов вместе с пастухом.

— Видно, подземным богам захотелось баранины,— пошутил первый стражник.

— Смотри, как бы тебе самому не провалиться в Аид,— испуганно отозвался другой.— И у подземных богов есть уши!

И, как бы в ответ на эти слова, что-то загрохотало снова. По черепичной крыше застучали камни. Спасаясь от каменного града, стражники скрылись под сводами внутренней галереи. Децебал слышал их тяжелое, прерывистое дыхание.

Рушился план, ставший жизнью Децебала. Скоро

утро. Повара начнут разбирать поленницу и обнаружат острое оружие. Заговор будет раскрыт. А если...

И он забарабанил кулаками в дверь изо всей силы.

— Откройте! Откройте! — закричал он.

— Что тебе? — послышался раздраженный голос стражника.

— Помогите! Меня придавило.

Стражник подошел к двери. Отворять камеру ночью запрещалось уставом казармы. Пока стражник размышлял, что ему делать, дверь камеры открылась сама. К римлянину метнулась тень, и страшный удар кулака обрушился на его голову. Стражник упал под ноги Децебалу, как мешок муки, даже не вскрикнув.

Труднее было справиться с другим римлянином, спешившим на помощь товарищу. Но в руках Децебала уже был меч, взятый у убитого. И схватка была недолгой.

Скорее к камерам друзей! Они стоят наготове у дверей и ждут. Они не знают, удалось ли Децебалу справиться со стражниками, охраняющими галерею. Надо освободить всех, всех! Как жаль, что погасли факелы римлян. Засовы приходится открывать на ощупь. Скорее, скорее, пока не услышали стражники, охраняющие ворота. Руки Децебала дрожат, ощупывая обшивку дверей. За дверью тяжелое дыхание.

— Это ты, Келад?

— Я.

— Выходи!

И так семьдесят камер на первом и втором этажах, семьдесят дверей и засовов...

Когда толпа гладиаторов заполнила внутреннюю галерею и двор казармы, по времени должно было светать. Но солнце не могло справиться со мглой. Серый, как будто дымный свет смазывал все очертания и предметы. С той стороны, где находился Везувий, слышались какие-то странные звуки, напоминавшие храп. Казалось, гигантская гора уснула и землю покрыл мрак, чтобы не тревожить ее покой. Но нет, это был не сон горы, а ее пробуждение. Над вершиной взметнулся огненный столб, и снова камни посыпались частым тяжелым дождем.

— Смотрите, друзья! — воскликнул Децебал.— Спартак зажег на Везувии свой факел свободы!

И не было во всей толпе гладиаторов ни одного, кто бы усомнился в этом чуде. Недаром же столько месяцев дак молился духу горы, призывая проклятья на головы римлян. И божество вняло его мольбам. Огонь вырвался из чрева Везувия.

Камни летели, словно кто-то невидимый пускал их из огромной пращи. Земля тряслась в последних мучительных судорогах. С грохотом падали мраморные колонны храмов. Разваливались виллы, созданные кровью и пóтом невольников. Рушилось все, что считалось вечным и незыблемым. Горели леса. Запах гари соединялся с вонью серы. Мгла раскалывалась молниями. Небо смешалось с преисподней.

И если римляне были охвачены животным ужасом и искали безопасного места, бросив казарму и узников, то гладиаторы ликовали: им казалось, что сама стихия на их стороне.

Эта гроза, эта буря, эти перекрещивающиеся в небе разящие молнии рождали в их душах небывалое ощущение свободы и с нею вместе почти забытое ими в Помпеях чувство радости. Не Везувий извергал лаву, а гнев клокотал в груди обреченных на смерть; не скалы гремели, обрушивая камни на город, а рабы распахнули темницы, разорвали оковы. Они сами были частицей восставшей природы.

Гладиаторы бросились к воротам. С улицы доносились детский плач, женские вопли и крики мужчин. Дети звали родителей, родители — детей, пытаясь распознать их в темноте по голосам. Напуганные помпеянцы спешили к Стабиевым воротам, чтобы покинуть город. Многие воздевали руки к небу и молили богов о пощаде, но боги не слышали их криков и мольбы. Или на земле больше не стало богов, и для мира настала последняя вечная ночь, тот первозданный хаос, из которого на заре времен возникло все сущее...

Ворота казармы с вечера на запоре. Убегая, стражники взяли с собою ключи. Каменная стена сверху утыкана гвоздями. Ее в темноте не одолеть.

— Децебал! Что нам делать? — слышались голоса гладиаторов.

— Друзья! — крикнул дак.— Идемте к столбу позора!



На середине двора в землю был вкопан толстый гладкий столб. К нему привязывали в наказание тех, кто был недостаточно расторопен во время тренировки или дерзок с учителями фехтования. Палящее солнце и мухи, облеплявшие тело, были пострашнее карцера и бичей. И не было дня, чтобы у столба позора не корчился человек. А последнее время столб позора не пустовал и ночью. И если палящими днями наказанным не давали воды, то зимними холодными ночами их обливали водой из колодца, и даже в камерах было слышно, как несчастные лязгали зубами от холода.

Раскачать и вытащить столб было делом нескольких мгновений. Ярость и жажда мести удесятеряли силы. Столб позора превратился в таран. И ни один из таранов не взламывал ворот с такой чудовищной силой, как этот. Створки ворот выскочили из петель и с грохотом отлетели.

Только тот, кто долгие годы был лишен свободы и жил в ожидании смерти, может понять чувства гладиаторов. Они были свободны.

Беглецы взялись за руки, чтобы не потерять друг друга в этом тумане. Так приказал Децебал, понимавший, что каждому в отдельности не уйти от преследования. Ведь стоит римлянам опомниться, и они бросятся в погоню за гладиаторами, освобожденными Везувием. Они будут травить их собаками, как волков. И тогда ничто не сможет спасти восставших, кроме сплоченности и отваги.

Но не остался ли кто-нибудь в камерах? Не сбежал ли, напуганный грозным бедствием? Как настоящий полководец, Децебал чувствовал себя ответственным за судьбу каждого воина.

— Все здесь? — спросил в последний раз Децебал.

— Все! Все! — ответили вразнобой беглецы.

И тут Децебал вспомнил о Кирне, брошенном римлянами в карцер.

— Келад,— сказал Децебал фракийцу,— веди воинов к Стабиевым воротам. Жди меня там.

И дак бросился в карцер, вниз по каменным ступеням. Он знал, что и здесь камеры закрываются наружными засовами. Вот она, эта камера.

Децебал рванул засов. Никто не кинулся ему навстречу, не обнял его. По тяжелому дыханию Децебал понял, что Кирн в левом углу камеры. Не было видно ни лица Кирна, ни очертаний его фигуры.

— Вставай, Кирн,— сказал Децебал.— Спартак зажег на вершине Везувия огонь. Идем, Кирн, ты свободен!

В ответ послышались вздох и невнятное бормотание.

Децебал бросился к Кирну, схватил его за руку и потянул к двери. Вслед за сирийцем по каменному полу побежала, как гремучая змея, цепь.

— Тебя заковали, друг?! — с жалостью и удивлением воскликнул Децебал.— Заковали, а ключи от замка унесли в преисподнюю.

— Беги, Децебал,— устало пробормотал Кирн,— спасайся один. На землю опустилась ночь. Вылилась чаша гнева божьего.

— Спартак не оставит друга в беде! — торжественно проговорил Децебал.— А твой Христос забыл о тебе...

— Децебал! — послышался крик снаружи.— Децебал, где ты?

Децебал просунул рукоять меча в кольцо, вбитое в стену, и, напрягая все силы, повернул меч на себя. Нет, это не просто железное кольцо в одной из камер, а звено огромной цепи, опутывающей весь мир. Если Децебалу удастся его вытянуть, станет свободным привратник, прикованный к дому Сильвия Феликса, потомка убийцы Спартака, обретут свободу тысячи и тысячи рабов...

И в последнее мгновение, когда стена рухнула на Децебала, ему казалось, что он вытянул это проклятое кольцо.

## ФОРТУНА

Юноша вытер ладонью вспотевший лоб. Румянец во всю щеку, растерянный взгляд, старомодная войлочная шляпа, заштопанная тога, неуверенные движения — все выдавало в нем провинциала.

Толпа текла беспрерывным потоком. Со всех сторон юношу толкали, теснили. Рим шумел, как всегда в эти послеполуденные часы. Гремело серебро на грязном столе менялы. Неистово вопили жрецы Беллоны[1] и яростно колотили в боевые щиты. Нищий с корабельным обломком в руке громко просил милостыню. Продавцы протертого гороха старались перекричать разносчиков дымящихся колбас, пронзительно расхваливавших свой товар. Септи́мий, так звали юношу, несколько раз останавливал прохожих и показывал им табличку с адресом, но все спешили, а какой-то пожилой и мрачный человек его отчитал:

— Проходу от вас нет! Сидел бы дома, деревенщина!

Септимий и впрямь начал думать, что лучше было бы ему остаться дома. Полдня он бродит по Риму, и никто не может ему сказать, как найти дядю. А ведь в Аримине[2], откуда был родом Септимий, все считали дядю важной персоной. Давая адрес дяди, отец наставлял сына:

---

[1] Белло́на — римская богиня войны, супруга (по другому мифу — сестра) Марса.

[2] Арими́н — город в Северной Италии, на побережье Адриатического моря.

«Будь почтителен. Помни, что он служит самому императору. Понравишься дяде — он и тебя устроит».

«Странно, что дядю здесь никто не знает,— думал юноша.— А может быть, и знают, да не хотят сказать. Недобрые здесь люди. Явись к нам в Аримин из Рима или другого города, так проводили бы до самого дома, а по дороге рассказали бы, что за человек, сколько у него детей и есть ли дочь на выданье. А тут бегут как на пожар, и никому до тебя нет дела».

Уже стемнело. Опустевшие улицы и площади Рима стали просторнее, здания величественнее, но Септимий не замечал красоты вечернего Рима. Он был голоден, устал.

Выбрав портик, пристроенный к высоченному дому, Септимий сел спиною к колонне, вытащил из кожаной сумки лепешку и стал жевать. Перед его глазами мелькали тоги, греческие хитоны, прозрачные шелковые одежды, сандалии, солдатские сапоги. Кричали разносчики воды. Из соседнего дома слышалось пение. Несмотря на поздний час, кто-то бил молотком по железу. Это была музыка большого города. И она усыпила Септимия.

Его разбудил чей-то вопль, заглушенный бранью, ударами. Протерев глаза, Септимий увидел, что шайка грабителей напала на рабов, несших крытые носилки и освещавших дорогу факелами и лампадариями[1]. Рабы разбежались. Факелы, чадя, догорали на земле. Грабителями распоряжался невысокий коренастый человек в войлочной шапке. На его лице с бледно-розовой кожей, какая обычно бывает у рыжеволосых, выделялись живые блестящие глаза.

Недолго думая Септимий ринулся на грабителей. В Аримине он считался неплохим кулачным бойцом. Он легко отбросил двух или трех негодяев. Рыжий, оставив носилки, бежал навстречу Септимию. Судя по улыбке на лице главаря, его скорее радовало, чем огорчало появление нового противника. Но грабители, казалось, оберегали рыжего, не давая ему вступить в драку. Кто-то подставил Септимию ногу. Он упал, и на голову его обрушилось что-то тяжелое.

---

[1] Лампада́рии — столбики, оканчивавшиеся ветвями. На концах ветвей вешали лампы.



Септимий очнулся в чужом доме. Он лежал на низкой постели. Над его головой был потолок в лепных украшениях, изображавших фантастических зверей.

— Ну каково, молодой человек? — услышал он и повернул голову.

Справа от него сидел худой старик в белой тоге. В лице старика было что-то величественное и суровое, хотя голос его был тонок, как у ребенка.

— Впервые в Риме? — спросил он после долгой паузы.

— Да,— ответил Септимий, удивленно разглядывая богатое убранство незнакомой комнаты.

— Тебя, верно, интересует, где находишься? — сказал старик, подсаживаясь ближе к Септимию.— В моем доме. Меня зовут Квинт Цецилий. Я сенатор, и отец мой был тоже сенатором. Вот так-то, молодой человек.

Септимий молчал, и старик продолжал:

— Я вижу, ты смелый юноша. Не побоялся шутников, хотя и был один.

— Шутники? — воскликнул Септимий, приподняв голову.

— А ты думал, грабители? — сказал старик.— Просто шалуны. Захотелось им позабавиться, поразмяться после сытного ужина. Если бы не ты, вытащили бы меня из носилок и подбросили раз-другой на растянутом плаще. Проказники!

— Так это тебя несли в носилках? — догадался Септимий.— И что это им вздумалось с тобой шутить! Ты им ровня, что ли? Этот рыжий, я вижу, у них заводила. Парень не промах! Но если мне еще попадется, получит. Будь уверен!

— Молод ты еще и многого не понимаешь,— проворчал сенатор.— Отправлю-ка я тебя к дяде, а то достанется ему вместо племянника одна урна с пеплом. Табличку мы твою подобрали на камнях. Узнал я, кто твой дядя. Влиятельнейший человек по нынешним временам, хотя и либертин. Полюбился он Нерону[1]. Теперь ему и сенаторы поклон отдают. Вот что, юноша, повезу-ка я тебя к нему в театр Помпея. Ты ведь там не бывал?

Септимий отрицательно помотал головой.

— Я так и думал,— продолжал сенатор.— Увидишь своего дядю. Заодно и театр посмотришь, недавно его после пожара отстроили, и императора увидишь.

— Император тоже будет в театре? — перебил Септимий. Глаза его загорелись.

— Еще бы! В главной роли! Чтобы посмотреть на это зрелище, стоит приехать не только из Аримина, но и из Пантикапея[2]. Пытался я его отговорить. Но куда! Теперь у него другие советчики — из тех, кто прежде свиней пас.

Если бы Септимий не был ошеломлен всем, что с ним произошло, он, наверно, уловил бы в словах старика иронию. Но сейчас он не замечал ничего. Септимий благословлял богов за то, что они послали ему этого сенатора. «Значит, не врут в Аримине, что дядя важная птица! — с удовлетворением думал Септимий.— Простые люди его не знают. А вот сенаторам он известен!»

---

[1] Нерóн — император Гай Клавдий Нерон (54—68 гг.). Действие рассказа относится к началу царствования Нерона.

[2] Пантикапéй — греческая колония на Черном море.

* * *

У входа в театр стояли воины — рослые и сильные, как на подбор. Грозно блестели их шлемы и поножи.

Септимий обратил внимание на широко расставленные ноги в крепких, подкованных гвоздями калигах. «Вот бы мне такие сапожки! — с завистью подумал он.— Износу им нет».

— Преторианцы! — шепнул сенатор, выходя из носилок.

В том, как он произнес это слово, Септимий ощутил страх, смешанный с неприязнью.

Еще у себя в Аримине Септимий слышал, как вольготно живется преторианцам. Другие воины годами торчат на границе в лесах и болотах. Кругом варвары, комары, грязь, тоска. А эти живут в самом Риме. И даже сенаторы боятся их.

— А они нас пустят? — сказал Септимий, с испугом глядя на сенатора.

Тот смерил его насмешливым взглядом.

— Ты думаешь, их поставили здесь, чтобы никто не вошел в театр? Как бы не так! Они стоят, чтобы никто не вышел до конца представления.

Септимий захлопал глазами. Он ничего не понял из слов сенатора. «Странные здесь порядки! — подумал он.— В театр, как в мышеловку, легко войти, а обратно так просто не выберешься!»

Сразу от входа начался украшенный гигантскими статуями коридор. Гулко раздавались шаги по каменному полу. Витая деревянная лестница привела на второй этаж. Там был такой же коридор, только с множеством дверей. Сенатор нерешительно остановился у одной, обитой пестрой материей.

— Стой здесь,— шепнул он Септимию.— Твой дядя — театральный цирюльник. Сейчас он причесывает императора. Как император выйдет, ты сразу заходи. А я отправлюсь к себе в орхестру[1]. Увидят, что меня нет, и подумают... «О времена! О нравы!» — как сказал бы старик Цицерон.

---

[1] В греческом театре в орхестре находился хор; в римском театре орхестра служила ложей для сенаторов.

Септимий впился глазами в дверь, на которую указал сенатор. «Шутка ли сказать — там сам император. Из всех цирюльников Рима император выбрал моего дядю! — с гордостью подумал Септимий.— Стоит дяде шепнуть пару слов, и император прикажет, чтобы нам вернули участок. Что ему стоит? Или распорядится, чтобы нам дали новых волов. А может быть, он возьмет меня на службу? Ведь есть у него кони! Я бы пас их и чистил. Блестели бы как золотые!»

Неизвестно, как далеко ушел бы Септимий в своих мечтах, если бы не открылась заветная дверь и на пороге ее не показался человек в пурпурном одеянии до пят.

В правой руке его был скипетр, на голове — отливающая драгоценными камнями корона. Лицо его было покрыто маской, но столь искусно сделанной, что Септимий этого даже не заметил.

«Император!» — догадался Септимий.

Таким он и представлял его себе, божественно сияющим и прекрасным. Как счастливы те, кто могут коснуться его одежды, ощутить на себе взгляд этих серых властных глаз.

Император сделал несколько шагов, и к нему, семеня толстыми ножками, подбежал какой-то человечек и простер вперед руку.

— Зал полон,— сказал он.— Те, кому не хватило мест, стоят и сидят прямо на полу. Толпа ломится в театр. Мне пришлось поставить у входа преторианцев, чтобы больше никого не пускали. Прикажешь начинать?

Император подошел к занавесу и приложил глаз к отверстию в нем.

— Боюсь!— воскликнул вдруг он, отпрянув от занавеса.— Сколько раз сюда выходил, но от страха избавиться не могу. Представь себе, Тигеллин[1]: на тебя смотрят тысячи глаз! Они знают, что я император. Но они хотят, чтобы я стал богом. У меня подкашиваются ноги! А во рту так противно, словно выпил напитка Ло-

[1] Софиний Тигеллин — начальник преторианской гвардии при Нероне. По свидетельству древних авторов, отличался жестокостью, лицемерием.

кусты[1]. К тому же я видел сегодня дурной сон. Как бы не вышло беды...

— Римляне давно оценили твой божественный дар,— отозвался тот, кого император назвал Тигеллином.— Успех обеспечен!

— Успех в руках Фортуны[2],— сказал император, раздвигая занавес.

Каждое слово этого разговора было слышно Септимию. Но он не понял, о чем шла речь. Правда, он не мог не заметить, что император чем-то напуган. Вспоминая слухи, ходившие в Аримине, он подумал, что молодой император боится своих бесчисленных врагов. Клеветники обвиняют его, что он убил свою мать, что он прогнал своего старого наставника Сенеку и связался с какими-то негодяями. Отец предупреждал Септимия, чтобы он не упоминал в разговоре даже имени императора. В Риме есть люди, которые прислушиваются к тому, что говорят на улицах и в домах об императоре, доносят куда надо. За каждый донос они получают столько денег, сколько не заработает честный ремесленник за год работы. «И все-таки,— думал Септимий,— в молве есть правда. Вот он сказал о Локусте... Боится, что его отравят. И предчувствия его мучают».

Опомнившись, Септимий поспешил к двери. Он уже схватился за ручку, как вдруг откуда-то вновь появился коротконогий, которого император называл Тигеллином.

— А тебе что здесь надо? — спросил он, подозрительно рассматривая Септимия с ног до головы.— Кто тебя сюда пустил?

Септимий от страха словно проглотил язык.

— Дядя,— пробормотал он после долгой паузы.

Это рассмешило коротконогого.

— Племянничек нашелся! Что-то не могу тебя припомнить...

---

[1] Локу́ста — хорошо известная в императорском Риме составительница ядов и отравительница. Имя ее стало нарицательным. Услугами Локусты воспользовалась мать Нерона — Агриппина, отравившая своего мужа Клавдия и расчистившая Нерону путь к власти.

[2] Форту́на — богиня судьбы и удачи у древних римлян. Изображалась с рогом изобилия и рулевым веслом в руках; иногда в виде слепой.

— Дядя там,— проговорил наконец Септимий, показывая на дверь.

— Так бы ты сразу и говорил, голова, что твой дядя — цирюльник. Ему сейчас не до тебя. Скоро сюда император опять придет. Пойдем со мной.

Он повел Септимия в конец коридора и ткнул его куда-то в угол.

— Стой здесь и смотри, а я твоему дяде сам доложу о тебе. Освободится он и за тобой зайдет.

Септимий даже не поблагодарил Тигеллина и не заметил, как тот ушел. То, что он увидел перед собою, захватило его целиком.

На деревянный помост вышли рабы с крытыми носилками на плечах. Сделав несколько кругов, они остановились и поставили носилки на землю. Два чернокожих служителя с босыми ногами распахнули полог носилок и замерли, скрестив руки на груди.

Из носилок вышел император, еще более величественный, чем прежде. Теперь он уже ничего не боялся. Он шел с высоко поднятой головой. Его движения были неторопливы и размеренны. Септимий ощутил благоговейный трепет. Он готов был отдать жизнь, лишь бы стоять у носилок вместо этих чернокожих со скрещенными руками.

Откуда-то выбежали двое: один тощий, в черном хитоне, с длинными волосами, распущенными по плечам; другой толстый, как пифос[1]. Септимию они сразу не понравились. Было что-то в их физиономиях зверское. И потом, стоило императору отвернуться, как они делали друг другу какие-то странные знаки. Но вот они ушли. Удалились рабы-носильщики. Одни чернокожие продолжали стоять как статуи.

Император, кажется, устал с дороги и прилег на бугорке отдохнуть. Заиграла музыка. Септимия это немало удивило, так как нигде не было видно музыкантов. Казалось, это были звуки невидимых флейт и лир, доносившиеся с неба.

И вдруг в нескольких шагах от Септимия приподнялось что-то круглое, словно крышка бочки, и показалась взъерошенная голова.

[1] Пифос — широкий глиняный сосуд.

«Соглядатай!» — подумал Септимий.

И в этот момент снова показались те двое — длинноволосый и толстяк. Они шли на цыпочках, чтобы не разбудить императора. Но что у них в руках? Длинная железная цепь.

«Что же смотрят чернокожие? Может быть, они спят? — лихорадочно думал Септимий. — Да это же настоящие злодеи! Они хотят заковать императора! Они подкрадываются к нему, как волки».

Блеснула цепь в руках длинноволосого и упала на ноги спящего императора. И в это мгновение словно какая-то сила бросила Септимия на сцену. Удар был нанесен в челюсть. Злодей не сопротивлялся. Видимо, он не ожидал, что у императора найдутся защитники. Еще один удар в висок — и тощее тело, описав дугу, упало на подмостки. Толстяк несколько мгновений в ужасе смотрел на неизвестно откуда взявшегося безумца и вдруг бросился наутек. Септимий не дремал. Одним прыжком он догнал беглеца и влепил ему такую затрещину, что тот перелетел через сцену и упал в орхестру.

Весь театр встал на ноги. Публике понравился этот неведомый актер, внесший столько жизни в мир театральных условностей. Зрители ревели от восторга. Крики сотрясали огромный зал. Ни одна пьеса не имела в Риме такого шумного успеха.

И только Квинт Цецилий не разделял общего восторга. Он даже не встал со своего сиденья. Руки его дрожали. Лоб покрылся мелкими капельками пота. Один Квинт Цецилий, казалось, понимал, что произошло непоправимое. «А что, если он убьет Нерона? Ведь он обещал с ним расправиться...» — думал с ужасом сенатор.

Воодушевленный криками публики, Септимий метался по сцене, готовый уничтожить каждого, кто посмеет поднять руку на любимого императора. Но сцена опустела. Чернокожие истуканы молниеносно исчезли. Один лишь суфлер с открытым ртом застыл в своем убежище, высунув голову из люка. Септимий ударил ногой по крышке люка и прихлопнул соглядатая, как мышь.

Теперь на сцене остался лишь один император. Видимо, он был настолько потрясен своим неожиданным избавлением, что не сразу опомнился. Так, во всяком случае, казалось Септимию. Но к тому времени, когда

Септимий расправился с соглядатаем, император встал на ноги, сбросил массивные оковы. Они отлетели на несколько шагов и глухо ударились о подмостки.

— А ну-ка, покажи кулак,— сказал император, подходя к Септимию.

Септимий, глупо тараща глаза, сжал ладонь и поднес кулак чуть ли не к самому носу властелина.

— Чудовище! — с чувством неподдельного восторга произнес император.— Здорово ты их расшвырял!

Покосившись на актера, лежавшего в прежней позе у его ног, добавил с плохо скрываемым злорадством:

— Этот уже отыгрался. А ведь считался первым актером. И сколько ролей сыграл! Сколько наград получил! Всё в руках Фортуны!

Зрители вопили, топали ногами...

На сцену вышел Тигеллин.

— Уйми народ! — сказал император коротко.— Объяви, что представление окончено. Пусть расходятся по домам.

— Народ радуется, что ты вне опасности. Этот простой человек,— Тигеллин указал на Септимия,— не мог спокойно видеть, как императора заковывают в цепи, даже если это происходит на сцене. Настолько к тебе велика любовь толпы, божественный!

— Да, народ меня любит,—самодовольно сказал император.— И я плачу ему тем же. Стал бы я выступать на подмостках, если бы не хотел доставить удовольствия римлянам. Даже в этом наряде персидского деспота я остаюсь их любимым Нероном. И им нравится, что император — великий артист. А этот старый болтун Квинт Цецилий уверял меня, будто я уроню свое достоинство, если покажусь на подмостках. Ему стала поперек горла моя слава.

— Вот ты и сам понял, божественный, кто тебе друг,— сказал Тигеллин, угодливо склонившись.— Разве можно верить этим старым болтунам, похваляющимся знатностью рода. Юнец, впервые прибывший в Рим, более достоин твоей божественной милости, чем все они, вместе взятые.

— Ты прав, Тигеллин,— охотно согласился император.— Этот человек заслуживает награды. Объяви народу, что я дарю юноше четыреста тысяч сестерций, а

ты возьми его на службу в преторианскую гвардию. Под охраной таких, как он, мы заживем как боги.

С этими словами император скинул маску.

В глазах Септимия потемнело, словно его ударили доской по голове. На сцене стоял тот самый буян, который прошлой ночью напал на сенатора.

## БЕЛЫЕ, ГОЛУБЫЕ И СОБАКА НИКС

— О! Да он у тебя свирепый! — крикнул человек в коротком плаще, отскочив от ворот конюшни.

Натянув цепь, к нему рвался черный лохматый пес и скалил острые зубы.

Отстранив собаку, наружу вышел юноша лет двадцати, светловолосый, с румянцем во всю щеку.

— Это ты, Регул? — воскликнул он удивленно.

— Мимо проходил. Вот и заглянул. Нет ли у тебя кабаньего навозу?

— Кабаньего навозу?

— Ну да. Ты разве его не употребляешь?

— А что с ним делают?

— Натираются и золу его на молоке пьют. От ушибов помогает.

— У нас в Сицилии от ушибов травами лечатся.

— А как твоего пса кличут?

— Никс.

— Да...— сказал Регул после долгой паузы.— Зачем ты его только сюда привез? Лучше бы раба купил. Раб лошадей накормит и на проминку выведет. А от собаки какая польза?

— Привык я к Никсу. Он со мной коней пас. От волков их стерег. А раб мне ни к чему. Коней я сам кормлю и чищу. Они одного меня признают.

— У тебя трехгодки сицилийской породы, коренной — Огненный, сын Фукса и Этны. В Сиракузах ты самого Андроника на полкруга обошел.

— Откуда ты это все знаешь? — удивился юноша.

— Всего я не знаю,— скромно ответил Регул.— Вот, к примеру, как ты в Рим попал и как тебя зовут?

— Звать меня Неáрхом. Сам я из Тавромéния. Толь-

ко я в Сираку́зах приз взял, подходит ко мне один, такой важный, в тоге. Сервилием назвался. Говорит мне: «Слушай, парень, поедем в Рим. Нравятся мне твои кони. Коренной центенарием[1] будет. За белых выступать станешь. Вот тебе деньги на дорогу и на обзаведение».

— И много он тебе денег дал?

— Тысячу сестерций.

— Всего тысячу монет! И ты согласился из-за них мараться?

— Он еще тысячу обещал дать после скачек. Думаю, не обманет.

— Другой с умом и пять тысяч за один выезд загребет.

— Это как?

— Ну, к примеру, ты в заезде четырех колесниц участвуешь. Приз — пятьдесят тысяч сестерций. Придержишь коней — и от победителя пять тысяч получишь. Понял?

— Так нечестно! — вспыхнул Неарх. — Как после того своим коням в глаза посмотришь? Кони-то ведь тоже хотят первыми прийти.

— Ну и чудак! — сказал Регул, деланно расхохотавшись. — Чего им в глаза смотреть? Ты о себе лучше подумай! За пять тысяч сестерций ты и квартиру наймешь, и крепкую рабыню купишь, чтобы твое хозяйство вела. Заживешь, как патриций. По рукам?

— Иди-ка ты отсюда... — сказал Неарх, побагровев. — Не на такого напал.

— Ого! Да ты так же скалишь зубы, как тот пес. Наняли тебя за тысячу сестерций, а ты и лаешь. Где тебе в Риме жить, деревенщина! Погоди! В последний раз предлагаю добром. Не хочешь? Ну смотри, чтобы не просчитаться!

Сплюнув сквозь зубы, Регул ушел. У него была какая-то разболтанная походка. И весь он был похож на дергунчика с нарисованным лицом.

Может быть, имя Регула ничего не скажет читателю наших дней, но в императорском Риме трудно было найти человека, который не слышал бы этого имени. Регу-

---

[1] Центена́рием называли коня, одержавшего сто побед. Центенариев воспевали поэты, им ставили памятники.

лы из рода Аттилиев во времена Республики были цензорами и консулами. Что касается Регула, героя нашего рассказа, то он знал родословную коней-победителей лучше, чем восковые статуи своих предков. Он мог сказать о прадеде и прабабушке любого из скакунов, отмеченных призом.

В голове Регула удивительным образом удерживалось лишь то, что в какой-то мере было связано с конями. Сколько ни бил его учитель ферулой, Регул не мог усвоить, против каких царей воевал Александр Македонский. Но зато историю с конем Александра — Буцефалом он знал в таких мельчайших подробностях, которые вряд ли можно было вычитать у историков[1]. Уже с десяти лет Регул вертелся на ипподроме и конюшнях среди возниц и конюхов. Он усвоил все их словечки и повадки. Он никогда не клялся Геркулесом, а только Эпоной[2]. Он знал стати всех конских пород и с одного взгляда мог определить, сколько лошади лет.

Впрочем, знания подобного рода мало помогали ему в той азартной игре, которая велась зрителями конских скачек. Всего за год он спустил отцовское состояние. А так как отпрыск знатного рода ничему не был обучен и ничем не интересовался, кроме коней, ему ничего не оставалось делать, как стать возницей. Нельзя сказать, чтобы это обрадовало мать Регула — Антистию, не чаявшую души в своем непутевом сыне. Но все же это было лучше, чем идти в гладиаторы или актеры. Выступление на скачках не лишало человека высокого общественного положения, его почетных привилегий, хотя зачастую ему приходилось состязаться с рабами и вольноотпущенниками. Антистия могла себя утешать, что Фаэтон не считал зазорным править солнечной колесницей, а император Нерон, да будут к нему милостивы небожители, сам управлял квадригой. Была еще и надежда, что Регул возьмет приз и поправит пошатнувшееся положение семьи. Но Фортуна упорно поворачивалась к нему спиной. Дважды Регул разбивал колесницу об мету, три

[1] По преданию, никто не мог сесть на дикого коня Буцефáла. Юный Александр повернул коня так, что в глаза ему не било солнце, и поскакал на нем. Буцефал служил Александру во время его знаменитого похода на Восток.

[2] Эпóна — богиня, покровительница коней и конских ристаний.

раза его выбрасывало, словно из пращи. Голубые, честь которых он отстаивал, готовы были лишить его права участвовать в заезде. Префект претория Мизерин, один из наиболее влиятельных голубых, добился, чтобы Регулу дозволили еще раз испытать судьбу.

Вот тогда Регул и решил сделать последнюю ставку. Ему нужна была победа любой ценой. Узнав, что за белых выступает новичок из Сицилии, он надеялся его обломать. Эта надежда не сбылась.

Неарх проводил взглядом непрошеного гостя. Приход Регула его сначала удивил и даже обрадовал. Он раньше не был знаком с возницей голубых, хотя и знал его в лицо. Мог ли он надеяться, что сам Регул пожалует к нему в конюшню. Предложение Регула его возмутило, хотя другой, более искушенный возница на его месте не отказался бы от пяти тысяч сестерций.

Закрыв ворота конюшни, Неарх подсыпал в ясли кормовой смеси. Он делал ее сам из ячменя, вики и бобовой соломы. От нее кони не жирели, сохраняя все те качества, какие необходимы беговой лошади.

Услышав приближение хозяина, Огненный повернул голову. Неарх невольно залюбовался своим коренным. У него был небольшой живот, но широкая и выпуклая грудь, суживающиеся книзу бедра, прямые, ровные, обращенные слегка внутрь колени, пышный хвост с вьющимися волосами. Неарх провел ладонью по спине Огненного и ощутил приятную теплоту молодого и сильного тела.

Никс жалобно взвизгнул. Неарх давно уже замечал, что собаки ревнивы. Псу тоже хотелось получить свою долю хозяйской ласки. Конечно, он не мог рассчитывать на ту же постоянную заботу, которой были окружены кони. Пища его была сытной, но однообразной. Но почему с тех пор, как они переехали в этот шумный город, хозяин ни разу не нашел времени его приласкать, как он это делал раньше. Он часто уходит, оставляя его в конюшне одного с лошадьми.

Казалось, все эти мысли Неарх прочел во влажных собачьих глазах.

Неарх подошел к собаке и прижал к своему бедру кудлатую голову.

— Что? Скучаешь, брат? — сказал он, почесывая

Никса между большими отвисшими ушами.— Нет здесь раздолья. Четыре стены. Тебе бы на травке поваляться. В речку окунуться. Потерпи, дружок. Скоро Скирп приедет. Помнишь Скирпа, братца моего? Он гулять с тобой будет. Здесь тоже и луг, и река есть.

* * *

Неарх запер дверь конюшни на замок и медленно зашагал по направлению к форуму. Здесь у таверны менялы Аррунция он должен встретить Скирпа. Его обещал привезти в Рим знакомый скототорговец из Тавромения. Мальчик впервые в Риме. Он может заблудиться в лабиринте его улиц, затеряться в сутолоке.

Едва только Неарх скрылся за поворотом улицы, к конюшне разболтанной походкой подошел человек. В руках его была небольшая лопатка, которую употребляют воины для устройства лагерей. Это был Регул. Он подергал ворота. Оттуда послышалось злобное ворчание.

— Не лай, Никс! — прошептал Регул.— Я принес тебе колбаски.

С этими словами он просунул в щель между воротами что-то тонкое и длинное.

Собака замолчала. Заржали кони, и не слышно было, ест ли она колбасу или нет. Но так как она больше не ворчала, Регул решил, что колбаса съедена.

— Скоро околеешь! — злобно прошептал Регул.

Обогнув угол конюшни, он подошел к той стене, где стояли кони. Став на колени, он стал рыть яму. Видимо, он имел в этом деле сноровку, так как лопатка мелькала в его руках. Вот уже яма имела в глубину не менее двух локтей. Регул отложил лопатку в сторону, лег на живот и просунул в подкоп руку. Пальцы нащупали сено. И в тот же момент он отчаянно завопил. Собачьи зубы впились в его руку. Он с трудом вырвал ее и что было силы побежал прочь.

Прошло немного времени после этого, и у ворот конюшни показался Неарх с мальчиком лет двенадцати, одетым по-деревенски — в грубом плаще, подпоясанном сыромятным ремешком, в широкополой войлочной шляпе.

— Вот наш дом,— сказал Неарх, показывая на конюшню.— Здесь и кони, и Никс. И мне здесь спать приходится.

Заслышав знакомый голос, Никс радостно завизжал.

— Скучно ему взаперти,— сказал Неарх, открывая замок.— Выпускать одного боюсь. Потеряется или покусает кого-нибудь. Потом отвечай за него... Когда коней веду на проминку, его с собой беру. Сидит в повозке — не шелохнется. Может быть, ты с ним погуляешь? Только в городе с поводка не спускай.

— Хорошо, Неарх,— ответил мальчик.— Никс меня знает. Я его еще от волка отбил. А собаки ведь помнят добро.

— Помнят,— подтвердил Неарх, открывая ворота. Ему сразу бросился в глаза кусок колбасы.— Колбаска?..— протянул он.— Вот чудеса! Откуда она взялась? Я Никса колбасой не кормлю.

Никс залаял и побежал, все время оглядываясь, к стене, где был подкоп.

— Все ясно! — сказал Неарх, отбросив сено.— Следы крови, и дыра снаружи. Кому-то стали на дороге мои кони и мой пес.

Он вернулся к воротам и сказал ничего не понявшему и поэтому напуганному мальчику:

— Вот видишь: колбаса. Клянусь Геркулесом, она отравлена. И лошадям хотели яда подсыпать. Не вышло. Вот тебе и приобретай раба! Да они раба мигом подкупят или убьют. А с Никсом им так просто не справиться. Никс у чужого еды не возьмет. Есть ведь такие негодяи! Ты слышал, как ругаются: «Собака!» Да разве собака на подлость способна! Собака зла не сделает. Только ее не трогай.

Неарх наклонился, гадливо, двумя пальцами поднял колбасу и выкинул ее за ворота.

— Сразу бы я нашел этого двуногого волка,— сказал он, обернувшись к Скирпу,— да вот некогда. Сегодня работа.

Подойдя к стене, он снял с гвоздя длинную белую тунику. Скирп с любопытством взглянул на пришитые к тунике ремни с медными пряжками. Неарх натянул тунику и попросил мальчика застегнуть сзади ремни.

— Потуже! Вот так!

Теперь Неарх был похож на сказочных героев, каких изображают художники на стенах и на мозаичном полу богатых домов. У него были широкие грудь и плечи, узкая талия, прямые и стройные ноги. Ему не хватало лишь шлема. И словно Неарх почувствовал это. Он снял со стены остроконечную кожаную шапку и надел ее на голову. Шапка закрывала лоб и щеки, оставляя открытым нос, рот и глаза.

— Какая смешная! — невольно вырвалось у Скирпа.

Неарх пожал плечами.

— Говорят, защищает при падении,— сказал он.— Только я думаю, что, коль пройдутся по тебе копыта и колеса, ничего не поможет.

Неарх затянул кушак, засунул за него кривой нож и обратился к мальчику:

— Займусь конями. Надо им спины протереть и бабки забинтовать. А потом на разминку вывести. Кони любят, чтобы я с ними перед выездом побыл. Ты же в цирк отправляйся. Дорогу тебе каждый покажет. Сегодня пол-Рима в цирке. И Никса с собой возьми. Вот поводок.

— Меня с ним не пустят.

— Пустят. А в случае чего скажешь, что Никс — моя собака.

* * *

Они шли по мостовой. Здесь было просторнее, чем на тротуаре, и никто не мог их толкнуть или ударить. Скирп крепко сжимал поводок. Никс брел, высунув язык. Его разморила жара. Или, может быть, он утомлен такой массой людей и городским шумом.

Еще в своем Тавромении мальчик много слышал о Риме. Старики говорили: «Тот ничего не видел, кто не видел Рима». Но Вечный город прекраснее всех рассказов о нем, сказочнее, чем любая фантазия. В какую сторону Скирп ни обращал своего взора, повсюду были дома, словно соревнующиеся друг с другом в красоте, пышности и великолепии. Стены портиков и храмов блестели, как смазанные маслом. Площади заставлены бронзовыми и мраморными фигурами. Одних этих статуй больше, чем в Тавромении людей. Некоторые фигуры подняты на высокие каменные арки. Это полковод-

цы на позолоченных конях. А стены арок украшены рельефами. Склонившие голову варварские вожди. Их жены с распущенными косами, с протянутыми в мольбе руками. Здесь все говорило об истории, заполненной сражениями и войнами. Оружие дало Риму господство над всем миром. Побежденные стали рабами. И, может быть, все это богатство и великолепие создано их трудом.

А толпа! Она сама была величайшим зрелищем Рима. Улицы едва вмещали ее. Толпа текла к цирку неиссякаемая, как горная река. Кого только сегодня не встретишь! И вскормленного молоком кобылиц кривоногого сармата. И огромного голубоглазого сигамбра со связанными в узел на затылке волосами. Курчавого, толстогубого обитателя верховьев Нила, сухощавого меднотелого египтянина. Все они покинули свои поля, леса, степи, горы и пустыни ради римских скачек. Казалось, было в самом воздухе что-то свидетельствующее об их приближении. Пыль, взметенная тысячами ног, щекочет ноздри. Движения прохожих подчеркнуто резки и торопливы. Глаза лихорадочно блестят. Речь отрывиста, словно состоит из одних междометий. О чем сегодня говорит Рим? Чем сегодня дышат Субура и Этрусский квартал? Хлеб и жилье? Это завтра. Сегодня на устах у всех лишь кони, возницы, колесницы. Из всех цветов и красок мира остались только четыре.

Вот и полукружие стен, горделиво высящихся над соседними домами. Это три лежащих один над другим ряда арок. В нижнем ряду, с обеих сторон главного входа в цирк, лавки со съестными припасами. Чего здесь только нет! Галльская солонина и ветчина, морская рыба из Испании, откормленные устрицы с Лукринского озера, аттический мед, фригийские петухи, мелосские журавли. Запах индийской корицы смешивается с ароматом благоуханного нарда и вонью иллирийских сыров.

Галереи заполнены так, что негде и ассу упасть. Но здесь меньше всего тех, кто намерен что-либо приобрести. И напрасно торговцы развертывают дорогие шелковые ткани с острова Кос и тонкий сирийский муслин. Напрасно они расхваливают свои румяна и притирания, будто бы возвращающие молодость. Кого сейчас может привлечь это зрелище роскоши, эта выставка чу-

жеземных богатств?! Толпа занята другим. Слышны хлопки и гортанные выкрики. Это заключаются пари о победе в заезде. Юркие, пронырливые люди дают бьющимся об заклад советы. О! Им известно все! Какой конь хромает! Какой возница сломал руку во время тренировки! Известие об этом воспринималось в галереях с таким ужасом, с каким, наверное, бородатые предки не принимали весть о поражении при Каннах.

Кто этот носатый и чернявый человек, прислонившийся спиною к колонне? Его окружило тесное кольцо римлян. Они ловят каждое его слово. Следят за каждым его движением. Может быть, это знаменитый поэт или философ. Что вы? Это Дио́кл. Диокл? Ну да, тот самый Диокл, которому его почитатели воздвигли в Риме десять статуй. Чем же он прославился? Как? Вы этого не знаете? Он участвовал в заездах четыре тысячи раз и тысячу четыреста шестьдесят два раза выходил победителем. В один год он одержал сто тридцать четыре победы. Он был первым со времени основания города возницей, победившим восемь раз на приз в пятьдесят тысяч сестерций с одними и теми же тремя лошадьми. Сорока двух лет от роду он оставил ремесло возницы и зажил в своем дворце на Эсквилине. Его считают одним из самых богатых людей Рима.

— Диокл, кто победит? Какие кони придут первыми? — слышится отовсюду.

Диокл не отвечает. Он просто поднимает вверх свою ярко-красную шляпу.

— Да здравствуют красные! — кричат его почитатели.— Слава Диоклу!

Сзади Скирпа остановились двое. Один — седовласый старец в грубом, подпоясанном веревкой плаще — тяжело опирается на суконную палку. Его босые ноги в ссадинах. Кажется, он пришел издалека. Другой — юноша с живыми и блестящими глазами.

— Разреши, отец! — сказал юноша. В его голосе прозвучала мольба.

— Отстань! — сердито молвил старец.— Мы пришли не на эти дьявольские игрища. Нам надо найти отца Алексия. Он собирает здесь у грешников милостыню.

— Отец! А ведь святой Илия тоже поднялся в колеснице на небо. И он не считал грехом управлять конями.

— Я вижу, ты искушен в словоблудии. Святой Илия не мчался сломя голову, а возносился на небо. И влекла его не слава мирская, а любовь господня.

«Христиане!» — догадался Скирп и невольно отстранился.

У себя на родине Скирп много слышал об этих врагах рода человеческого. Будто они кровь у младенцев высасывают и поклоняются голове осла. Если где неурожай был или скот подыхал, во всем обвиняли христиан. Болтали также, что они ходят в толпе с отравленными булавками и колют ими.

«Посмотришь: люди как люди! — думал Скирп.— И нет в них ничего зверского. Только почему этот старик юношу в цирк не пускает?»

В это время толпа вдруг покачнулась и сдвинулась с места. Скирпа сжали с обеих сторон. Никс взвизгнул. Видимо, кто-то наступил ему на лапу. «Теперь даже если захочешь, отсюда не выберешься»,— подумал мальчик и взглянул на христиан. Старец, схватив юношу, пытался вытащить его из толпы. Но людское течение уже повлекло их обоих и закрутило, как на стремнине. На лице юноши мелькнула радостная улыбка, и они оба затерялись в толпе.

Остались позади узкие ворота. Пройдя их, толпа растеклась мелкими ручейками между проходами, отделяющими одну каменную скамейку от другой. Скирп вздохнул и вытер тыльной частью ладони капельки пота со лба и щек.

Устроившись на сиденье и посадив рядом Никса, мальчик огляделся. Цирк имел форму гигантской чаши. Дно ее было изумрудным полем с черной полосой беговой дорожки, края — местами для зрителей. И все эти места заливало волнующееся море голов. Люди были в белом, голубом, зеленом и красном, в тех же цветах, какие защищали возницы и их кони. Ложи украшены свежей зеленью и цветами. В одной из этих лож — сам император. Сколько ни пялил глаза Скирп, он не смог отыскать лица, знакомого ему по монетам и статуям. Он хотел было попросить соседа, чтобы тот указал ему императора, но не успел.

Призывно прозвучала труба, и на ипподром вышла праздничная процессия. Она двигалась с торжественной

медленностью, обходя цирк вдоль рва, отделяющего беговую дорожку от мест для зрителей. Может быть, многим, с нетерпением ожидавшим начала скачек, эта древнейшая религиозная церемония казалась скучным предисловием к увлекательнейшей из книг, но Скирп не отрываясь смотрел на удивительное шествие. Впереди шли люди в белом. Они держали носилки со статуями богов. Вот Нептун с трезубцем. За ним величественная Юнона. Боги кивали головами, может быть, они благодарили за то, что их не оставили в одиночестве в этот день. Или они обещали своим почитателям успех в скачках? Кто знает? За богами пестрой толпой тянулись музыканты. Сверкали изогнутые этрусские трубы. Звучала древняя мелодия, сочиненная неведомым певцом еще во времена Тарквиниев[1]. А вот и колесница устроителя игр. Медленно вращаются спицы ее огромных колес. Наверху — человек в широкой, ниспадающей складками пурпурной тоге, со скипетром из слоновой кости, украшенным орлом. Рядом с ним — мальчик в претексте. Наверное, это его сын, удостоившийся вместе с отцом невиданного почета. Ведь эта высокая колесница принадлежит самому Юпитеру[2], так же как и наряд устроителя игр, и венок из золотых дубовых листьев, который держит раб над его головой.

Шествие проделало круг и вернулось к тем воротам, откуда оно вышло. Люди в белом бережно опустили носилки на землю, сняли с них богов и поставили их на почетные места под императорской ложей. Отсюда они будут наблюдать за бегом коней. Устроитель игр сошел с колесницы, передал жрецу свой сверкающий скипетр и направился к ложе, что над центральным входом. В толпе началось глухое брожение. Глаза всех устремлены на сводчатые ворота. Там, нетерпеливо ударяя копытами и фыркая, уже стоят запряженные кони. Устроитель игр поднял над головою платок. В цирке стало так тихо, что, кажется, каждый мог услышать биение

---

[1] Римский Большой цирк, место действия рассказа, был сооружен во время правления в Риме династии этрусских царей Тарквиниев (VI в. до н. э.).

[2] Юпитер — бог света и неба; главный римский бог.

собственного сердца. Платок полетел вниз. И в это же мгновение упала веревка, преграждающая ворота; одновременно раскрылись и ворота. Колесницы вылетели на поле. Страшный крик потряс воздух. Наверное, он был слышен в любом месте огромного города.

В первые секунды ничего не было видно, кроме густого облака пыли. Но вот пыль рассеялась. И снова послышался рев толпы. Вперед вырвались кони голубых. Регул натягивает поводья. Правая рука у него замотана чем-то белым. За голубыми несутся красные. Багровая туника и такого же цвета шлем, розовая колесница, пурпурная упряжь — все это сливается в одно алое пятно. Почти рядом, голова в голову, скачут белые и зеленые.

Колесницы несутся к каменным столбикам, за которыми начинается поворот. Малейшая оплошность — и они перевернутся или разобьются.

— Регул! — ревет возбужденная толпа.— Гони, Регул!

«Наверное, в цирке больше всего голубых»,— подумал Скирп. Но если бы Скирп обладал всеведением богов и мог бы услышать, что говорят и о чем думают сейчас многие из зрителей, он бы ужаснулся.

— Пусть ларвы[1] отнимут у твоих коней силу! — страстно шепчет толстяк в зеленом плаще и шляпе лягушачьего цвета.— Пусть кони не смогут бежать! Пусть ларвы лишат возницу зрения! Нет, лучше пусть они выхватят Регула и бросят его на землю!

Рыжеволосая пышногрудая матрона с черными бровями на одутловатом лице сцепила пальцы рук так, что видны лишь ее ярконакрашенные ногти. Она не кричит и не шепчет. Она поминутно закрывает глаза. Конечно, она тоже колдует, мысленно представляя себе туго натянутую веревку перед копытами голубых. Но колдовство не помогает. Голубые обогнули мету и по-прежнему скачут впереди, а ее красные — сзади.

На стене между предельными колоннами перед началом скачек висело семь фигурок дельфинов. Семь кругов надо пройти колесницам. Теперь их осталось пять.

---

[1] Ла́рвы — согласно представлениям римлян — души мертвых. Им приписывали злобность и вредоносную силу.

Белые начали прибавлять ходу. Те ли это, знакомые Скирпу, кони? Кажется, они стали выше ростом и красивее? Вот они уже обогнали красных. Матрона, выкрасившая свои волосы и ногти в цвет этой партии, уже не колдует. Лицо её стало белее полотна. Она тычет кулаками в воздух, она дышит как рыба, вытащенная на берег. Толстяк в зеленом уже не шепчет, он выкрикивает проклятия, обрушивая на своего ни в чем не повинного соседа целый фонтан слюны.

— Вперед, Неарх! — кричит Скирп.

И тысячи зрителей вопят вместе с ним: «Вперед!» Теперь кажется, что в цирке больше всего белых.

Регул, перегнувшись вперед, нахлестывает своего коренного. Регул задыхается, он дрожит от напряжения и ярости. Но все его усилия напрасны. Белые рвутся вперед. Неарх стоит на колеснице, широко расставив ноги. Ветер свистит в его ушах. Он чувствует, как тысячи глаз провожают его. И где-то в этой черной массе сам император. Но теперь император такой же зритель, как все. А Неарх — цезарь, владыка, бог. Цирк кружится в бешеной пляске. Кони летят, повинуясь одному его голосу.

— А-а-а! — взревела толпа.

Белые обошли голубых. Кони идут ровным галопом, сильно выбрасывая вперед ноги. Неарх нагнулся еще ниже, натянув поводья, словно повиснув на них.

— Вперед, Неарх! — кричит Скирп.— Вперед!

Мальчик весь дрожит от возбуждения, от счастья. Его нервы, все его существо напряжены, как тетива лука перед выстрелом. Он не замечает ничего, кроме четверки коней и брата, пригнувшегося к их крупам, с поводьями в руках. В такт бегу качаются белые перья между конских ушей, у налобных повязок, прыгают бубенцы, подвешенные к белому набрюшнику.

Откуда только у этих коней берутся силы? Расстояние между белыми и голубыми все возрастает. На красных и зеленых в цирке уже никто не смотрит. Между Неархом и Регулом уже полкруга. Регул грозит кому-то кулаком, замотанным белым. «Почему белым, а не голубым?» — думает Скирп. Толпа ревет, как гигантское стадо быков. В ее реве и надежда, и разочарование, и восторг, и отчаяние. А кони белых несутся, словно у

них выросли крылья. Кажется, копыта почти не касаются земли. Раздуваются по ветру пышные хвосты. Неарх не разрешил их отрезать, как это делают римские возницы. «Зачем калечить коней?» — сказал он своему патрону Сервилию. И тот согласился: «Поступай, как хочешь. Только приди первым». Скоро уже круг отделит белых от голубых. По цирку прокатился гул, напоминающий вздох разгневанной Этны. Что это такое? Регул направляет своих коней влево. Он хочет перерезать белым дорогу. Но Неарх предугадывает маневр противника. Он придерживает коней и бросает их вправо. Колесницы чуть не столкнулись. Ну и ловок этот Неарх! Может быть, это будущая звезда римского цирка, второй Диокл?

Регул со всего размаха вытягивает бичом по спине своего коренного. Его кони рванулись вперед. Сейчас белые и голубые против того места, где сидит Скирп. Мальчику видно, как ярость исказила лицо Регула. А брат спокоен. Он снова резко бросает коней влево. Но сейчас поворот, поворот шестого круга. Легкая колесница разворачивается, и Неарх вылетает из нее. Он падает за беговую дорожку у рва.

В глазах у Скирпа потемнело. Кажется, что-то оборвалось у него внутри. Но вот к нему вернулось зрение. Кони несут пустую колесницу; брат, раскинув руки, лежит на земле. Белая фигурка на зеленом поле. И в это мгновение мальчик ощутил толчок. Это вырвался Никс. Он черной молнией пролетел через места римских всадников. Еще два прыжка — и остались позади сенаторские места. Пес метнулся ко рву и одним прыжком перемахнул через него. Вот он уже бежит по зеленому полю за колесницей белых.

Сначала многие зрители не заметили пса. Но когда он приблизился к колеснице, словно новый раскат грома потряс цирк. В это мгновение в цирке родилась новая партия — партия черных. Все были уверены, что собака хочет обогнать коней. Весь цирк был за нее. И только один Скирп понимал, что происходит. В воздухе мелькнуло черное тело. Прыжок был точным. Никс оказался на колеснице, на месте Неарха.

Только теперь зрители начали понимать намерения этого пса. Нет, это не просто собака, вошедшая в азарт



бега и покинувшая своего хозяина. Она хочет заменить упавшего возницу. Она хочет выручить белых.

А колесница мчалась к мете. Поворот седьмого круга. Сейчас колесница заденет мету и рассыплется в щепки.

Собака прыгнула на спину коренного коня. Почувствовав на своей спине Никса, Огненный переменил галоп на крупную рысь. Этого оказалось достаточным, чтобы пройти опасное место.

Кони неудержимо рвались к белой черте. Четвероногий возница лежал на спине у Огненного словно его привязали. Теперь упряжке белых осталось пройти по прямой не больше стадии. В цирке творилось что-то невообразимое. В воздух летели шляпы, зонтики, набитые мочалой подушки. Белые обнимались, целовались, ликовали, торжествовали. Голубые яростно махали кулаками, скрежетали зубами, осыпáли проклятиями белых и эту собаку, лишившую их, казалось, уже достигнутой

победы. Да и собака ли это? Это злой дух. Разве простой собаке удержаться на спине скачущей лошади?

— Видишь, отец,— сказал юноша своему суровому спутнику,— не только на земле господа нашего, но и здесь, в Риме, происходят чудеса. Господь бог не презирает животных и не пренебрегает ими. Они лишены речи, но обладают разумом и мудростью.

— Семь кругов ада,— шептал старец, покачивая головой.— Всё суета. Суета сует.

Он сказал что-то еще, но его слова были заглушены криками. Белые миновали черту и, пройдя еще немного, остановились. Пышная желтоватая пена упала с морды Огненного на землю и на руки подбежавшего конюха. Собака спрыгнула со спины лошади и помчалась к Неарху, лежавшему на траве в той же позе.

Никс обнюхал своего хозяина. Схватив за край туники, он стал ее тянуть. Неарх поднял голову и снова бессильно опустил ее.

А в это время Скирп, спустившись вниз по проходу, подбежал ко рву. Страж, охраняющий в цирке порядок, едва его задержал.

— Пусти меня! — закричал мальчик, вырываясь.— Это мой брат. Он жив!

— А собака тоже твоя? — спросил страж.

— Это наша собака. Никс! Никс! Сюда!

Никс прыгал и лаял возле хозяина, словно пытаясь его разбудить. И только знакомый голос заставил его остановиться. С поднятыми вверх ушами пес застыл, вглядываясь в черную массу.

— Никс! Никс!

Собака бросилась ко рву и, перепрыгнув через него, оказалась рядом со Скирпом.

Так их повели обоих через ревущий цирк. Тысячи людей встали со своих мест. Может быть, со времен Тарквиния Древнего в Большом цирке никто не привлекал такого внимания толпы, как этот мальчик с собакой. Люди показывали на него пальцами.

— Смотрите! Смотрите! Это его собака! — кричали одни.

— Их ведут к императору! Сам император пожелал увидеть собаку! — вторили им другие.

Скирпа ввели в ложу. Все расступились, и мальчик

оказался перед человеком лет пятидесяти, с полным лицом и редкими волосами неопределенного цвета, причесанными на лоб.

Во всем его облике не было ничего величественного. Такие лица можно встретить всюду. Скирп ничего этого не замечал. Он был подавлен пурпурной тогой и сознанием, что перед ним сам император. И, конечно, Скирп бы не поверил, если бы ему сказали, что император напуган не менее, чем он сам.

Давно уже отняты у народа суверенные его права. Не бурлят политические страсти на форуме. Выборы превратились в комедию: голосуй за того, на кого тебе укажут. Магистраты превратились в чиновников. Сенат — сборище старых баб. Судьбы мира решаются в спальнях и канцеляриях. Не стало оптиматов и популяров. Но зато появились цирковые партии. Ну и что ж! Пусть граждан разделяют цвета. Пусть споры идут из-за коней и колесниц. Это выгодно стоящим у власти. Но страсти остаются страстями. Ничтожный повод может привести к взрыву. О, как надо быть осторожным с толпой! Скачки — это дурман. Но в опьянении люди себя не помнят. Они забывают свое место. Толпа в цирке не требует передела земли и отмены долгов. Ее желания безобидны: отпустить на волю гладиатора или возницу, помиловать преступника, осужденного на борьбу со зверями. Но рев десятков тысяч всегда страшен. Кажется, из глубины веков поднимаются тени Гракхов и Катилины[1]. Берегись, цезарь! Ты на колеснице, верховный возница. Смотри, чтобы твои кони не понесли! Умерь свою гордость. Будь снисходительным к капризам толпы. Ты видишь, как она велика и многолика, а ты один...

— Мальчик, это твоя собака? — сказал император, моргая глазами.

Скирп молчал. Казалось, он потерял дар речи. Кто бы мог подумать, что он, сын пастуха из Тавромения, окажется лицом к лицу с самим императором.

— Что же ты молчишь?! — шепнул ему военный в блестящих латах и шлеме, стоявший справа от императора.

[1] **Гра́кхи** — народные трибуны, возглавившие борьбу римского крестьянства за землю (II в. до н. э.). Катили́на (I в. до н. э.) добивался власти, выставив в демагогических целях законопроект об отмене долгов.

— Это наш пес,— дрожащим голосом отвечал Скирп.— Он жил в конюшне у Неарха.

— Вот видишь, божественный,— произнес торжествующе военный,— это собака белых. Возница обучил ее скакать на лошадях. Начнут с собак, а потом обезьян обучат[1]. И древним скачкам придет конец. А ведь в старину награждали не коней, а возницу.

Император повернул голову.

— А какой у тебя цвет, Мизерин? — спросил он с усмешкой.

— Я голубой,— ответил военный, чуть смутившись.— Но какое это имеет значение в данном случае? Условия были неравными. Это нечестно.

И в это время заговорил мальчик. Откуда у него только взялась смелость?

— А собаку отравленной колбасой кормить честно? А коням отраву подсыпать честно? А дорогу перегораживать колеснице честно?

Император удивленно вскинул брови:

— О чем ты говоришь, мальчик?

И Скирп рассказал, как брат нашел колбасу и открыл подкоп в конюшне.

— Ты говоришь, что Неарх мог бы найти злоумышленника? — сказал император, выслушав рассказ мальчика.— Тебе этим следует заняться, Мизерин. Это по твоей части.

Военный наклонил голову, но видно было, что распоряжение императора ему пришлось не по душе.

— Я думал,— продолжал император,— что искусство Локусты умерло вместе с нею. Но оказывается, у Локусты нашлись последователи. Начнут с собак, а потом...

Он замолчал и несколько раз задумчиво покачал головой.

— Собака спасла белых,— сказал он после долгой паузы.— Победили белые. Пусть это передаст глашатай. Но возница не достиг конечной черты и не получит награды. Почетные знаки победителя передать собаке,

[1] Ристáние обезьян действительно было распространено в Риме в более позднее время. Четырех обезьян, одетых в цвета четырех партий цирка, привязывали к спинам лошадей и пускали коней под хохот зрителей.

по кличке Никс, и назначить ей содержание в пятьсот сестерций ежегодно до конца ее лет.

Раздались рукоплескания и одобрительные возгласы:

— Как справедливо!

— Как мудро!

— Недаром тебя называют усладой рода человеческого!

Император повернулся к Мизерину, почтительно вытянувшемуся перед ним.

— Сегодняшний день не пропал у меня даром, Мизерин,— сказал император.— Я сделал доброе дело.

* * *

Неарх приподнял голову. Рядом с ним стоял Скирп с Никсом на поводке. Военный в блестящем шлеме торжественно приближался, держа в руках широкую белую ленту с двумя золотыми бляхами. Он протянул ленту Скирпу, и мальчик повесил ее на шею пса. Неарху казалось, что он спит. Его Никс получил большой приз заезда!

Толпа ликовала. Народ воспринял награждение пса с радостью. Ему импонировало и само зрелище вручения награды. Сам префект претория Мизерин покинул императорскую ложу, чтобы оказать почет простому сельскому псу. Это было в духе тех стародавних времен, о которых можно было прочитать у историков.

— Да здравствует Тит! — кричала толпа.— Слава цезарю!

— Пятьсот сестерций на содержание пса,— сказал Мизерин бесстрастным голосом,— ты можешь получить в фиске[1]. И каждый год тебе будут выдавать ту же сумму, если явишься вместе с собакой.

По щекам Неарха текли слезы. В его глазах все плыло. Тысячи лиц с разинутыми в крике ртами сливались в одну чудовищную маску. Нет, это лицо Регула. «Не хочешь? Ну смотри, чтобы не просчитаться!» И снова поплыли, поплыли ряды. И снова земля закачала его, как бурное море. Что-то шершавое коснулось щек. Неарх закрыл глаза и нащупал пальцами мохнатую голову Никса.

[1] Фиск — императорская казна.

— Тебе здесь повезло больше, чем мне,— молвил он еле слышно.— Не быть мне больше возницей. Останусь жив, вернусь в Сицилию, буду пасти коней. Ты мне поможешь, дружок...

Никс ласково завилял хвостом.

## СЛУЧАЙ В БАЙЯХ

Две мили песчаного пляжа. Пинии, подпирающие ярко-синее небо. Виллы, сверкающие белизной своих колонн. Модницы в неподпоясанных туниках. Молодые люди, которые пахнут, как лавки с благовониями. Страдающие одышкой сенаторы и их юные вольноотпущенницы.

Тоги, хитоны, галльские плащи. Смесь всех языков и наречий. Сказочная оранжерея парусов на горизонте. Выкрики разносчиков воды и продавцов зонтиков. Азартный стук костей и звон монет. Плеск. Брызги. Хохот. Вот что такое Байи!

Дорогу, ведущую из Рима к Байям, называют дорогой легкомыслия. Говорят, что у ее первого милевого столба[1] остаются все старые привязанности и заботы. Самые серьезные и здравомыслящие люди превращаются в беспечных юнцов, стоит им лишь проехать этот милевой столб. Мысль о соблазнах, которыми полны Байи, отныне владеет ими. В Байях есть все удовольствия. Вы скажете, что там нет амфитеатра? Но разве вам мало петушиных боев? А в дни, когда в небе пылает Сириус, в Байи перекочевывают прославленные римские мимы[2]. Представления даются в гавани. Их посещают и женщины.

[1] По обочинам римских мощеных дорог стояли столбы, отмечавшие расстояние в милях (миля — тысяча шагов). Первый милевой столб, от которого вели начало все другие и у которого соединялись все дороги, находился на форуме и был вызолочен.

[2] Мимы — актеры и актрисы, участвовавшие в комических сценках из обыденной жизни. Игра и речи мимов сопровождались музыкой (флейта). Маски не употреблялись. Мимами назывались и сами сценки, служившие для народного увеселения. Мимы имеют греческое происхождение.

Если у вас есть друзья, которые любят ваше вино и ваш стол, лучше молчите, что вы возвратились из Бай. Иначе вам не избавиться от непрошеных гостей. Они вам не дадут покоя. Им надо знать все подробности, а завтра о них узнает весь Рим.

— Ты из Бай? Ну и как?

Губы их заранее вытягиваются в улыбке. В глазах жадный и нетерпеливый огонек. Попробуй им растолковать, что ты ездил в Байи лечиться, что врачи прописали тебе теплые серные ванны и морской воздух.

— Знаем мы эти ванны! — скажут они многозначительно.— Рассказывай! Не тяни!

Так же встретили и Квинта Теренция. Слух о его возвращении распространился с такой быстротой, с какой распространяется известие о предстоящей раздаче бесплатного хлеба. Изголодавшиеся клиенты заполнили атриум. Теренций расцеловался со всеми. Обычай этот, занесенный в город Ромула с Востока, был ему неприятен. Но что делать? Так принято даже при императорском дворе.

Смолк шум голосов. Гости расселись на скамьях у стен, и Квинт стал рассказывать.

— Не скрою, друзья,— начал он,— поездка была удивительной. Я отправился в Байи, чтобы забыть Кинфию. Так мне советовали все.

Один из гостей, человек с широким лицом и оттопыренными ушами, перебил Теренция:

— Я первый сказал тебе: отправляйся в Байи.

— Вот ты и ошибся, Пу́блий,— продолжал Теренций с улыбкой.— Речь будет не об этом. В Байях появилась новая забава — ночные катания с факелами. Те, у кого нет собственных лодок, нанимают лодочников. Решил покататься и я. На душе у меня было прескверно. Нанял я мальчишку-лодочника. Лицо в веснушках. Глаза живые и быстрые. Звали его Лу́цием. Лодчонка у него утлая, но на борту намалевано: «Салами́ния». Удивился я этому названию. Оказывается, мальчишка учится и каждое утро на своей лодчонке переправляется через залив к Путео́лам, где его школа. От наставника своего он узнал о великой битве при Саламине и назвал свою лодку «Саламинией». Мальчишка, хоть и зовут его

Луцием,— грек. Этих греков к нам в Италию нужда гонит. За душой ни сестерция. А ведь горды!

Море было тихим, как любимая после ссоры. Волны качали лодку в своих объятиях. Факел горел на носу, и тысячи мошек летели на его огонь. Я лежал на дне лодки и любовался звездным небом. Есть люди, которые умеют читать по звездам. Их называют халдеями, хотя чаще всего они сирийцы или иудеи. Опасное у них ремесло. Сколько раз их изгоняли из Рима! Римляне стремятся узнать свое будущее и боятся его. А мне бы хотелось прочесть приговор своей судьбы, чтобы встретить ее со спокойным сердцем и открытыми глазами. Жаль, что я не обучен читать по звездам.

Мальчишка греб и что-то напевал себе под нос. Я сказал, чтобы он спел погромче. Луций не заставил себя упрашивать. Это была одна из тех песен, которые поют кампанские рыбаки. Никто не знает, кто их сочинил. Может быть, они появились вместе с морем. Вдруг мальчишка замолчал. Весла замерли в его руках. «Смотри, господин, смотри!» — вскрикнул он. Я приподнял голову. В нескольких локтях[1] от лодки я увидел длинное вытянутое тело. Черная спина блестела при свете факела. «Дельфин,— сказал Луций.— Видишь, как слушает». И в это же мгновение дельфин исчез. Я долго всматривался в воду. Он не возвращался.

Конечно, я не поверил мальчишке. Дельфин мог случайно оказаться поблизости. Наконец, его мог привлечь свет факела. В легенде, которую рассказывают греки об Арионе[2], столько же правды, сколько в их баснях о драконах или сиренах. У греков богатое воображение. Даже этот мальчишка представил себе, что он Фемистокл, и назвал свою лодчонку «Саламинией».

Следующей ночью мне вновь захотелось покататься. Ночное море еще прекраснее, чем дневное. Лунные блики. Тишина, нарушаемая лишь звуками флейт и голо-

---

[1] Ло́коть — мера длины.

[2] Арио́н — греческий поэт и музыкант (VI в. до н. э.). Рассказывают, что моряки, желая завладеть сокровищами Ариона, хотели бросить его в море. Он добился, однако, от них, чтобы ему позволили перед смертью спеть песню. Привлеченный пением дельфин взял Ариона на спину и высадил на сушу близ города Коринфа.

сами влюбленных. Факелы отражаются в волнах, как звезды. Да, я забыл вам сказать, что днем мне повстречался Вите́лий. Вы слышали, наверно, о сенаторе Марке Вителии? Так это его племянник. Красив, как Нарцисс[1], и так же влюблен в себя. Завивается. Волосы на ногах выщипывает. Не расстается с серебряной тросточкой, у которой ручка выгнута, как голова змеи. Уверяет, что эта тросточка принадлежала когда-то Сулле и что она приносит счастье своему обладателю. Вителий и стихи пишет.

— В Риме теперь урожай поэтов,— сказал Публий.— Сочиняют, кому не лень. И даже ухитряются продавать.

— Конечно, Вителий слишком богат, чтобы продавать свои стихи. Он сам готов заплатить, лишь бы его слушали. А тут такой случай. Я ему подвернулся. Вцепился он в меня, как клещами. Пришлось взять его с собой. Уступил я ему дно лодки. Он устлал его лепестками роз, жалуясь на невыносимую вонь дегтя. Сам я сел на носу с факелом. А Луций на веслах. Что может быть хуже дурных стихов великолепной ночью в Байях? Они — как безвкусные побрякушки на шее красавицы. Стихи сыпались, как из дырявого мешка. После первых двух строк у меня пропал к ним интерес. А он все читал и читал. Я слушал из вежливости. Потом стал ерзать и чуть не выронил факел. Наконец не выдержав, я громко зевнул и сказал мальчишке: «Луций, спой вчерашнюю песню».

Мальчик запел. И что вы думаете! Едва он открыл рот, как у левого борта показался наш старый знакомец — дельфин. Клянусь Юпитером, ему полюбилась песня Луция! Теперь я в этом не сомневался. И действительно, было в этой песне что-то наивное, трогательное и в то же время мудрое. Я сам готов был слушать ее всю ночь. Особенно после стихов Вителия. И пел мальчишка великолепно. Кажется, ему льстило, что его слушает морской зверь. Вителий, видно заметив, что мы смотрим в воду, приподнялся. Не знаю, испугал ли его дельфин

[1] Нарцисс — согласно греческим мифам, юноша, влюбившийся в собственное изображение в ручье и превратившийся в цветок.

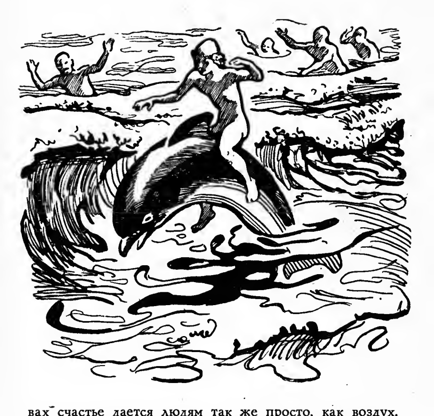
или ему стало обидно, что его декламации предпочли пение нищего лодочника, но он схватил свою трость и ткнул ею дельфина. Мальчишка — откуда только у него взялась смелость? — возьми да ударь Вителия по руке. И знаменитая серебряная трость полетела в дар Нептуну. Видели бы вы, как Вителий рассвирепел! Он схватил мальчишку за горло и начал душить. Луций сопротивлялся изо всех сил. Лодка закачалась. У меня потемнело в глазах: вы же знаете, какой я пловец. «Отпусти мальчишку!» — закричал я. Но в ярости человек становился глухим. Лодка качнулась в последний раз, и мы оказались в воде. В первое мгновение я растерялся. До берега полмили. Мне не добраться. Но справа и слева другие лодки. Поплыл я к той, что ближе. За мной — Вителий. Море не охладило его пыл. Ругань так и вылетала из его рта...

— А мальчишка? — спросил кто-то из гостей. — Что стало с Луцием?

— Мальчишка... О нем-то и речь. Оглянулся я и вижу: он сидит. Нет, не на перевернутой лодке. Его дырявая посудина пошла ко дну. Мальчишка сидел на дельфине. Это я понял, когда он с огромной скоростью пронесся мимо нас. Только рукой успел мне махнуть...

— Ты открыл глаза и проснулся, — иронически усмехнулся Публий. — Так ведь принято заканчивать подобные истории.

— Вновь ты ошибся, Публий, — сказал Теренций. — Наберись терпения. Рассказ мой еще не окончен. На следующее утро, отдохнув после ночного купания, я отправился к морю. И что же я увидел? На берегу — толпа. Все кричат и показывают пальцами: «Смотрите! Вон там!» Конечно, вы уже догадались: все смотрели на моего Луция на дельфине. Мальчишка держался как настоящий наездник. Он пригибался к шее своего морского коня, хлопал его пятками. Оказывается, Луций возвращался из Путеол. Пока мальчик занимался в школе, дельфин его терпеливо ждал. Я понимаю: зависть — дурное чувство. Но, признаюсь, я завидовал маленькому лодочнику. И мне бы хотелось пронестись по морю на дельфине. Нет, мне не нужно, чтобы на меня показывали пальцами. Дельфин отвез бы меня на острова Блаженных, о которых мечтал Серторий. На этих остро-



вах счастье дается людям так же просто, как воздух. И еще я подумал о том, что греки не такие уж выдумщики и болтуны, как мне казалось. Дельфин мог спасти Ариона. И драконы могли существовать в старину, хотя никто из живущих в наше время их не видел.

Как же мало мы знаем о земле, о существах, которые ее населяют! Часто мы отказываем им в разуме просто потому, что привыкли считать, будто умом обладает лишь тот, кто передвигается на двух ногах и владеет речью. И сколько пустых и ненужных дел мы находим для себя!..

Как бы с трудом оторвавшись от своих мыслей, Теренций взглянул на гостей. Они слушали его с интересом, и на их лицах не было и следа того игривого настроения, с которым они пришли расспросить о Байях.

Теренций спохватился: за рассказом он забыл о своих обязанностях хозяина.

— Накрой стол в триклинии![1] — приказал Теренций управляющему и, обращаясь к гостям, сказал: — Ничего другого, достойного уважения, в Байях не произошло. Да и публика с ее праздностью и жаждой самых разнообразных развлечений стала мне внушать отвращение. Ночные катания с факелами больше меня не привлекали. Я возвратился в Рим.

— А куда делся дельфин? — с недоверием спросил Публий.

— Слава ведь тоже приносит беспокойство. И немалое! — ответил Теренций.— Детей палкой нельзя было загнать в школу. Всем хотелось взглянуть на ручного дельфина. Кончилось тем, что учитель обещал спустить с Луция шкуру, если он еще раз приедет на дельфине. Луций расстался со своим другом. Мальчишка не плакал. Он не слезлив. К тому же и накатался он всласть. Теперь у Луция новая лодка. Я счел своим долгом купить ее ему, так как «Саламиния» утонула по моей вине.

* * *

Рассказ о мальчике, которого дельфин доставлял на своей спине из Бай в Путеолы, я нашел у римского естествоиспытателя Плиния Старшего. Племянник Плиния Старшего, Плиний Младший, тоже рассказывает о дельфине, игравшем с пловцами в заливе африканского города Гиппо Диарит и бравшем у них из рук пищу. И греческий писатель Павса́ний сохранил рассказ о прирученном дельфине. Вот он: «В Пороселене я сам видел дельфина, выказывающего благодарность мальчику за то, что он вылечил его, когда рыбаки его ранили. Я видел этого дельфина, как он слушался зова мальчика и носил его на себе, когда ему хотелось покататься».

Современные историки с недоверием относились к этим свидетельствам, видя в них вариации сказочного сюжета о благодарных животных. Но исследования зоологов подтвердили сообщения древних о том, что дельфин — удивительное, высокоорганизованное животное; он действительно музыкален, его можно легко приручить.

[1] Триклиний — здесь: столовая.

## КОРАБЛЬ ФИСКАЛОВ

Жителей Остии, порта на Тибре, казалось, трудно было чем-нибудь удивить. Каждый день в гавань прибывало до сотни кораблей и отправлялось из нее не менее. И все же никому еще в Остии — и не в одной Остии — не приходилось видеть такого судна. Впрочем, дело не в судне. Такие корабли ходили за зерном в Сиракузы, с вином в Массалию, за лесом в Геную. Необычным был груз.

Еще неделю назад был обнародован высочайший рескрипт:

«Желая положить конец беззакониям, процветавшим при наших предшественниках, и покончить с позорными преследованиями граждан по ложным обвинениям, повелеваю:

1. Собрать всех фискалов, обозначенных в списках награжденных за преданную службу.

2. Посадить их на корабль и выслать за пределы империи.

3. О выполнении доложить к майским идам восемьсот шестидесятого года от основания Рима».

Это было одно из многих мероприятий, которым ознаменовал свой приход к власти император Траян. Оно означало, что с террористическим режимом, продолжавшимся с короткими перерывами девяносто лет, было покончено. Начинался «золотой век» династии Антонинов — так впоследствии назвали Траяна и его преемников. Стиль рескрипта был предельно ясен, как и все, что выходило из канцелярии императора. И все же рескрипт вызвал в Риме немало кривотолков. Отзвуки их достигли и Остии.

Ранним утром в гавани было необычно людно. Юному римлянину Гаю, прибывшему из отцовской виллы в Байях, давно уже не приходилось видеть такой внушительной толпы. Можно было подумать, что предстоит раздача бесплатного хлеба или из Африки привезли зверей для показа в амфитеатре. Корабль давно уже причалил, матросы сбросили сходни, но фискалов все еще не было. Люди терпеливо ждали. Воспользовавшись скоплением народа, разносчики жареных колбас и моченого гороха вели бойкую торговлю.



Еще в школе Гай твердо усвоил, что нет ничего хуже фискальства. Лучше быть вором, чем доносчиком. Сзади него на скамейке сидел ученик. Никто с ним не водился. А все оттого, что он как-то выдал товарища, вбившего в сиденье учителя гвоздь острием вверх. Шалуна высекли. И с тех пор за доносчиком закрепилась кличка «Фискал». Идет он по улице, малыши ему кричат вслед: «Фискал! Фискал!» А кто и камнем запустит. Что только не делал бедняга, чтобы загладить свой проступок! Случалось, кто-нибудь напроказит, он вину на себя берет. Однако кличка была несмываемой, как клеймо. Но ведь тот фискал был мальчишка. Да и выдал он случайно, ненамеренно. Ну, подумаешь — высекли за гвоздь! Кого в школе не секли! А те, кого с минуты на минуту приведут в гавань, кого ожидает вся эта молчаливая толпа, были добровольными и платными доносчиками. Фискальство сделалось их профессией. Они добивались милостей и наград ценою крови и слез. Сотни казненных, тысячи изгнанных, позор и несчастье женщин и

стариков, юноши без будущего — все это плоды их высокооцениваемого «труда». А какой урон они нанесли нравственности! Дети доносили на своих отцов, чтобы воспользоваться имуществом. Рабы выдавали своих господ не во время пытки, а по заданию.

Гай огляделся. Кто эти люди, так терпеливо ожидающие высылаемых? Зеваки? Жертвы террора, пришедшие сюда, чтобы насладиться торжеством запоздавшей справедливости? Или, страшно подумать, родственники фискалов? Ведь у фискалов тоже должны быть отцы и матери, сыновья и дочери, братья и сестры. Несчастные! Гаю не хотелось бы оказаться на их месте. Каждый может теперь ткнуть в них пальцем, рассмеяться им в лицо, послать им проклятие!

Вот этот бородач с насупленными бровями, наверное, от фискалов пострадал. Может быть, в изгнании и бороду отрастил или по погибшим траур носит. А вон тот, толстогубый, не иначе, как родственник. Глаза опустил. Ни на кого не смотрит. Наверное, стыд одолел.

Вперед протиснулся добродушный старичок в грубом плаще и войлочной шляпе по самые брови. Наверное, рыбак или поселянин. Забрел с форума. Любопытство одолело.

— Кого ждете-то? — обратился он ко всем.— Опять христиан поймали?

Никто из толпы не хотел вступать в разговор, и Гаю пришлось объяснить старцу, что ожидают фискалов.

— Фискалов?..— с удивлением протянул старичок.— А я думал, опять враги рода человеческого объявились. Мало их при Нероне жгли. Я слышал, будто у христиан рога на лбу, ну не такие, как у козла или оленя, но все же приметные. И будто они распятому ослу поклоняются...

— Ты больше дураков слушай,— весело проговорил бородач,— у тебя самого уши, как у осла, отрастут.

В толпе рассмеялись. И сразу же исчезла скованность. Смех сближает.

— А куда их, фискалов этих? — не унимался старик.

— На острова Блаженных,— сказал бородач.

Гай чуть не подавился от хохота. Ну и умница эта борода! Ведь если приказано выслать за пределы империи, то куда их деть, кроме как на острова Блаженных?

К дакам? Так им не доносчики, а золото наше нужно. К парфянам? У них своих фискалов хватает. Конечно, на острова Блаженных. Народ там безответный. Примут. А потом и забудется, что были когда-то острова Блаженных. Переименуют их в острова Фискалов, и никому туда плыть не захочется. Умора!

— Какие это люди?! — вставил раздраженно толстогубый, которого Гай принял за родственника фискала.— Это изверги! Я бы их живыми в землю закапывал, как германцы с преступниками расправляются. Наш император чересчур милостив.

— Это ты правду говоришь,— подхватил бородач, почему-то пристально глядя на старика.— Только уж надо всех доносчиков собрать. И не только их. Тех, кто доносы принимал и на конфискациях разбогател, выслать бы заодно.

Наступило неловкое молчание. Разговор явно принимал нежелательное направление. Это была политика. Опытные люди знали, к чему она ведет. Многие отвернулись, делая вид, что не присутствовали при разговоре. Старичок еще глубже надвинул на лоб шляпу и стал пробираться назад. Толстогубый как-то неопределенно промычал:

— Ну, мне пора. Посмотрел, и хватит.

Бородач рассмеялся:

— Посмотрел? А что посмотрел-то? Смотреть-то еще нечего.— Повернувшись к Гаю, он добавил: — Боятся по привычке!.. Хоть и всех фискалов собрали...— Хитро подмигнув, он продолжал: — Да всех ли? Смотрю я на этого старичка: лицо знакомое, напрасно шляпу на глаза надвинул. Представился деревенщиной. А я его с братцем не раз встречал. Важная птица. Таких не тронули. А брат мой мелкая сошка. Его и схватили. Вот пришел я с ним попрощаться. Детей у него трое. А воспитывать кому придется? Мне! А я-то при чем? И дети не виноваты. И всех фискалов не вышлешь. Такого корабля еще не построили.

Он захохотал, довольный своей шуткой...

— Да и ведь без фискалов не обойтись,— сказал он с какой-то грустной серьезностью.— Пусть даже у нас золотой век объявят. Там, наверху, надо знать, может, кому золотой блеск не по душе. Или его за обман счи-

тают. А может, кто назад к железному веку стремится. Есть и такие...

В это время раздался топот. Показался всадник на взмыленном коне.

«Императорский глашатай»,— догадался Гай.

Всадник приложил к губам ладони:

— Слушайте! Слушайте! Император отменил свой указ от майских календ и милостиво разрешил высылаемым вернуться к своим семьям. Расходитесь! Расходитесь!

## TRISTIA

*Я изучил науку расставанья...*

Осип Мандельштам

Волны еще не смыли очертаний тела на прибрежном песке, а черная голова пловца едва уже виднелась в открытом море. Издали ее можно было принять за нырка — водяную птицу, плававшую у берега в эти осенние дни.

Несколько мгновений назад пловец лежал на животе, бездумно пропуская между пальцами тяжелый мокрый песок. Ветер трепал длинные волосы, стянутые на лбу льняной тесьмой. Из камышей, обнявших своим колючим строем небольшое озеро, доносилось ленивое мычание волов, хруст жвачки и бульканье. Эти привычные звуки успокаивали. А прикосновение волн, заливавших по щиколотки ноги, было приятно, как ласка ребенка.

И вдруг человек вскочил на ноги. Его чуткий слух уловил голоса. Римляне! Они шли, оживленно разговаривая, непринужденно смеясь.

Пастух сжал ладонь, словно в ней была не горсть песку, а горло недруга. Из кулака потекла желтая жижа. Не раздумывая, он бросился в море и поплыл к плоской, вытянутой косе.

Местные жители, геты, прозвали его Меченым за рубцы и шрамы на теле. Никто не знал его настоящего имени, потому что он был продан в рабство ребенком. Рассказывали, что он провел много лет на корабле, поднимая и опуская тяжелое весло, и это ожесточило его

душу. У него не было семьи. Дочери и жены рыбаков избегали его. Он никогда не смотрел людям в глаза, изъяснялся на каком-то странном языке, смешивая греческие и латинские слова с наречием своего народа. Он умел читать не хуже тех, кто приходил из города собирать налоги. Но казалось странным, что он никогда не бывал в Томах и при появлении на берегу римлян прятался, хотя ему ничто не угрожало.

Пастух вышел из воды, отряхнулся, с опущенной головой зашагал в глубь косы, туда, где из песчаных, надутых ветром холмов поднимались желтоствольные сосны. И тут ему бросилась в глаза вытащенная на берег лодка. Как он ее не заметил сразу? «Здесь кто-то должен быть». Едва успев это подумать, пастух увидел человеческую фигуру. Незнакомец сидел у сосен спиною к морю. Кто бы он ни был, его присутствие здесь раздражало. Но что это? Человек встал. И пастух разглядел белую римскую тогу. Римлянин! Наверное, один из тех, кто прибыл на корабле в Томы. От них и здесь не скроешься! Решение пришло сразу. Этот должен ответить за все. Только так можно покончить с прошлым, которое жгло и преследовало, как навязчивый сон. Рука сама вытащила из ножен на поясе кривое лезвие. Пастух взял нож в зубы, чтобы было удобнее ползти. Он должен приблизиться к врагу незаметно. С десяти шагов он попадет в него без промаха.

И вдруг пастух услышал всхлипывание. Он оглянулся. Трудно поверить, что плачет этот человек в тоге. Но вокруг не было никого другого. Плачущий римлянин! А ему казалось, что римляне только заставляют плакать других. Плачут от боли и обиды. Он тоже плакал в первые месяцы своей неволи. Но потом у него иссякли слезы и в душе остались одна ненависть и жажда мести. Кто мог обидеть этого римлянина? Кто причинил ему боль? Пастух прислушался. Этот удивительный римлянин уже пел. И песня его была широка, как море. Откуда в квакающей римской речи вдруг появилось столько величавой мудрости, грустного раздумья и хватающей за сердце тоски? Этот римлянин — певец. А все певцы — любимцы богов. Даже дикие звери не трогают их. Дельфины высовывают головы из кипящих волн и внимают звукам песен.

Пастух засунул нож за пояс, встал и медленно зашагал к соснам. В нескольких шагах от них он остановился и, дождавшись, пока римлянин закончит свою песню, спросил:

— О чем ты поешь, чужеземец?

Римлянин спокойно повернулся. Он был немолод. Время посеребрило его виски, но в глазах, сохранивших юношеский блеск, не было ни испуга, ни удивления. Наверное, это смелый человек, не боящийся встречи с незнакомцем. Или, может быть, он не дорожит жизнью?

— Я пою о родине, с которой меня разлучила судьба,— сказал римлянин.— Когда-то своими песнями я учил смертных радостям любви. Это были веселые и задорные песни. Многих они заставляли забывать о том, что отнята свобода. И сам я готов был об этом забыть. Вот уже девять лет, как меня изгнали из Рима в этот пустынный и безотрадный край. Вот уже девять лет, как я слышу ломаную греческую и латинскую речь. У меня нет друзей. Да откуда они могли бы здесь взяться, если все римское здесь внушает неприязнь?

— У тебя есть о чем вспомнить,— молвил пастух.— Ты был счастлив на своей родине.

— У меня остались одни воспоминания.

— Воспоминания бывают разными,— продолжал пастух.— Одни расширяют твое бытие. Ты живешь и минувшим и настоящим. Другие — как тяжелая железная цепь. Идешь, а они тянут тебя назад.

Римлянин удивленно вскинул голову. Он не ожидал услышать от варвара такую мудрую речь.

— Ты очень хорошо сказал о воспоминаниях. Но у человека должно быть будущее. Я же потерял все, кроме жизни, которая дает мне чувствовать всю горечь бедствий. На мне нет больше места для ран. Моя Фабия больше не пишет мне. А как она рвалась за мной в прощальную ночь! Я не взял ее, надеясь, что, оставшись в Риме, она добьется для меня прощения. Шли годы. Прощения не было. Крутобокие корабли, увозившие отсюда воск, шкуры и рыбу, унесли и мои tristia[1]. Но мои жалобы не смягчили сурового сердца Августа. Новый

[1] Tristia — жалобные и печальные песни Овидия. Слово это стало нарицательным.



правитель еще хуже прежнего. Вчера в Томы пришла трирема из Рима. Может быть, на ней тайный убийца. Если бы я был отравителем или вором, меня бы здесь не держали. Слово для имеющих власть опаснее яда и кинжала. Песня разит без промаха. От нее не укроешься за рвами и каменными стенами. Вот почему правители всегда ненавидят поэтов, даже если те поют только о любви.

Пастух слушал, проникаясь все более и более сочувствием к этому удивительному человеку. Судьба римлянина ему близка. Горе понятно. Римлянин плакал от одиночества и бессилия изменить свою судьбу. У него не было будущего.

Помолчав немного, римлянин приподнял исхудавшее лицо, обрамленное спутанными седыми волосами. Огромные горящие глаза смотрели с ожиданием, но в нем чувствовалось беспокойство.

— Я не надеялся здесь кого-нибудь встретить,— сказал римлянин прерывающимся от волнения голосом.—

Этот мыс всегда казался мне глухим и пустынным. Мне хотелось самому свести счеты с жизнью. Но раз судьба столкнула меня с тобою, я решаюсь просить тебя об одной услуге. Руки мои не привыкли к мечу. Смертоносное железо противно музам. Удар может оказаться неверным, смерть — долгой и мучительной.

Римлянин наклонился и быстро поднял с земли меч. Его короткое лезвие блеснуло на солнце.

— Вот, возьми!

Пастух попятился. В глазах его сквозил ужас.

— Нет! Нет! — пробормотал он.— Я не могу, я не хочу тебя убивать! И разве ты виноват в том, что со мною было?

Сейчас пастух уже не помнил о том, как совсем недавно с ножом в зубах он подкрадывался к римлянину, чтобы лишить его жизни. Что же произошло в эти несколько минут? «Этот римлянин не такой, как другие,— думал пастух.— Он слишком хорош для Рима. Но почему он не может жить без своего города, принесшего ему горе? Почему ему мало этого простора, этих сосен, этих синеющих на горизонте лесов?»

— Остановись! — кричал римлянин.— Заклинаю тебя богами, остановись!

Пастух бежал к берегу, увязая по щиколотки в глубоком песке. «У каждого есть счеты с жизнью и богами,— думал он.— А я не могу быть убийцей».

— Уведи мой челн,— издалека донесся голос.— Утопи его в море. Я не хочу, чтобы они узнали, как умер Овидий.

Пастух направился к лодке. «Овидий...— думал он.— Римлянина зовут Овидием». Он никогда не слышал этого имени. Да, этот римлянин не такой, как другие.

Пастух шел по берегу вдоль моря. Языки волн зализывали следы.

## В ПЕЩЕРЕ СО ЛЬВОМ

Во все стороны простиралась песчаная пустыня с поднятыми вверх, как бы предостерегающими об опасности красноватыми пальцами скал. «Остановись! — го-

ворили эти скалы.— У тебя нет ни пищи, ни воды. Ты безоружен, ослабел от голода. Твои ступни стерлись и оставляют кровавые следы. Остановись, безумец!»

Но Андрокл шел и шел...

Уже несколько дней за ним никто не гнался. Его преследовали одни воспоминания. Лица мучителей чудовищно искажены в воспаленном мозгу. Да и люди ли они? Это фантастические звери со свиными рылами вместо лиц, с извивающимися змеями вместо рук. А может быть, это не змеи, а толстые черные плети, оставившие на боках и спине безжалостные рубцы.

В одно из мгновений, когда сознание Андрокла освободилось от кошмара, он увидел перед собою скалу с большим черным отверстием. Пещера. Она укроет его от дневного зноя, а ночью он двинется дальше. Он будет искать воду. Ведь должна же быть здесь вода!

Андрокл вполз в отверстие. Пахнýло затхлым, застоявшимся воздухом. И, прежде чем глаза привыкли к темноте, Андрокл почувствовал, что он не один. Что-то зашевелилось, раздалось ворчание и рев, еще более усиливаемый пещерой. Андрокл увидел льва. Лев колотил себя по бокам хвостом, готовясь к прыжку. Андрокл был слишком слаб, чтобы бежать, и слишком напуган для этого. Он закрыл глаза, ожидая смерти. Но смерть медлила, словно желая продлить мучения. Лев зарычал еще раз, но в рычании Андрокл уловил не ярость, а боль. Приподняв веки, Андрокл увидел, что хищник катается по земле, как большая кошка. Поведение льва было странным, непонятным.

Внезапно лев поднес лапу к морде и с ворчанием начал ее грызть. Что-то белое торчало между когтями. Видимо, заноза. И она причиняла хищнику такую боль, что даже присутствие человека не вызвало обычной ярости. Лев был совсем рядом. Андрокл ощущал его жаркое дыхание. Животное пыхтело, скрежетало зубами. Заноза зашла глубоко. Зубы зверя не могли ее схватить.

Андрокл протянул руку. Хотел ли он помочь льву? Это было скорее инстинктивное, чем сознательное движение. Но пальцы нащупали острую кость, впившуюся в огромную лапу, и рванули ее.

Больше Андрокл ничего не помнил. Он впал в бес-

памятство. Сколько оно длилось? Час или день? Этого он тоже не знал. Но он хорошо запомнил момент пробуждения: огромная тень, заслонившая свет, упругие шаги и падение чего-то тяжелого. Зверь принес что-то в зубах и бросил на камни рядом с Андроклом. Скосив глаза, Андрокл увидел тушу, обрызганную свежей кровью. Запах мяса щекотал ноздри. Поток слюны заполнил иссохшую гортань, и по всему телу прошла судорога от нестерпимого голода. Андрокл наклонился и схватил добычу льва.

Положив морду на скрещенные лапы, лев смотрел, как насыщается человек. Зеленоватые зрачки неподвижны. Кажется, зверь удивлен, что человек ест так торопливо, жадно и кровь стекает по его бороде и плоской безволосой груди. На несколько мгновений Андрокл забыл о соседстве хищника. Голод сделал его самого зверем. Он разрывал зубами жесткое, неподатливое мясо и глотал большие куски, давясь. Сытость горячим потоком наполняла его, разливаясь струйками по всему телу. Но вместе с насыщением росла тревога. В неподвижном взгляде льва было что-то пугающее. Андрокл ощущал то же, что моряки из греческой сказки. Они попали в пещеру к великану людоеду, и тот откармливал их, чтобы съесть. Кто знает, что на уме у зверя. Андрокл не допускал мысли, что бок антилопы — благодарность за оказанную услугу. Нет, это просто запас пищи. «Сейчас зверь сыт, а когда проголодается, примется за меня»,— думал Андрокл, прижимаясь спиной к стене пещеры. Теперь он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы двигаться. Но ему стало казаться, что малейшее движение, не говоря уже о бегстве, может вызвать ярость льва. Он слышал рассказы охотников, что звери не трогают людей, если они лежат неподвижно, притворяясь спящими. Андрокл старался не дышать и не смотреть на льва, но даже с полузакрытыми глазами ощущал на себе его пристальный, упорный взгляд.

Незаметно для себя Андрокл задремал. Впервые за много дней это было не забытье, а сон. Андроклу снилось, что он бежит по лугу в горах. Высокие травы хлещут по ногам, щекочут спину и живот. Враги гонятся за ним, но для него это игра. Он молод, ловок, неутомим. Он у себя дома. Здесь ему все знакомо. Только надо на-

питься. Ручеек на другом склоне горы. Андрокл знает это. Он слышит, как звенят стеклянные струи, прыгая с камня на камень. Еще несколько шагов — и он припадет лицом к холодной, сверкающей на солнце, брызжущей влаге.

Увы, это был только сон. Жажда мучила и наяву. Андрокл оглянулся и облегченно вздохнул. Лев ушел. Как приятно не ощущать на себе настороженного, внимательного взгляда хищника! Теперь можно выйти и искать воду. Но радость оказалась преждевременной. Лев лежал в нескольких шагах от пещеры.

Позднее, раздумывая над поведением льва, Андрокл стал склоняться к мысли, что лев охранял его сон, как верный пес. Но в то время он иначе расценил присутствие хищника. Лев сторожил свою добычу, как кошка у норы сторожит мышь. Привыкший к человеческой жестокости, Андрокл невольно судил о поведении зверя по людским меркам. Он был несправедлив. И вскоре понял это. Появление Андрокла не вызвало у льва ни тени раздражения. Лев не колотил себя хвостом по туловищу, как в первые мгновения знакомства. Он только повернул голову и громко зевнул, обнажив огромную розовую пасть с двумя рядами острых желтых зубов.

Андрокл опустился на землю. Он решил, что будет наблюдать за львом отсюда, а не из глубины пещеры. Наверное, звери, как и люди, не любят трусов. Лев снова положил голову на лапы, но вдруг встал и медленно зашагал к видневшимся вдали красноватым скалам.

И тут произошло нечто необъяснимое. Словно какая-то сила толкнула Андрокла. Он поднялся на ноги и зашагал за львом. Они шли долго. Лев ни разу не оглянулся на человека, находившегося от него на расстоянии одного броска. Расстояние между ними не увеличивалось и не уменьшалось. Казалось, лев считался с тем, что человек слаб и ему трудно идти.

Слезы радости душили Андрокла. За все эти годы рабства он впервые был благодарен живому существу. И этим существом оказался не человек, а свирепый хищник. Римляне огораживают арены своих амфитеатров высокими железными решетками, бросают туда рабов и



выпускают львов. Хищники терзают человеческие тела своими когтями и клыками. Но разве хищники в этом виноваты? Их не кормят несколько дней, их дразнят железными палками, чтобы вызвать ярость. Люди свирепее и кровожаднее львов. Они злее и подлее, коварнее, хитрее.

За красноватой скалой начался спуск. Лев и человек шли по высохшему руслу речушки. Видимо, в пору дождей оно наполнялось водой, но теперь от нее остались лишь мелкие продольные углубления, напоминающие шевелюру эфиопа. Но что это? Деревья? Пальмы в пустыне. Где деревья, там и вода.

Вот он, источник,— чудо жизни! Андрокл, наклонившись, пил, и перед глазами у него колебалось отражение львиной морды с широким носом, ртом, окруженным щеткой усов. Лев смотрел, как человек пьет. А человек не мог напиться, слезы текли у него по щекам, капали и смешивались с водой.

Они были в нескольких шагах друг от друга, и, казалось, каждый думал о своем. Если бы человек сделал для Андрокла то, что сделал для него лев, он, наверное, обнял бы его, прижал бы к своей груди, дал бы клятву всегда помнить о нем. Но Андрокл даже боялся подойти к своему спасителю и положить ему на гриву руку. Это ведь дикий, вольный зверь. Человеческая ласка может показаться ему фамильярной и жалкой. Да и может ли выразить движение руки или звук голоса всю глубину переполнявших Андрокла чувств?

Внезапно лев встал. В косых лучах заходящего солнца он виделся не песчано-желтым, как прежде, а огненно-красным. Было что-то грозное в его позе, в широко расставленных лапах, в гордо закинутой голове. Большие ноздри раздувались, грудь поднималась и опускалась, как кузнечные мехи. Казалось, зверь учуял запах невидимого противника где-то в песках и скалах и бросал ему молчаливый вызов.

И вдруг тишину расколол какой-то протяжный звук. Он был похож на львиный рык, но было в нем что-то призывное, зовущее. Судороги прошли по телу льва. Он вытянулся, как огромная кошка у миски с молоком, задышал еще более глубоко и часто, а потом, не оглядываясь, на мягких лапах пошел на зов. Андрокл понял, что зверь не вернется.



## МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Когда я был маленьким, мне очень нравился цирк. Какие только чудеса не совершались под его куполом! Человек в ярком, до пят халате, с чалмой на голове глотал ножи, выпускал из рукавов голубей, протыкал сверкающей шпагой ящики с людьми, а люди оставались живыми и невредимыми. Я хлопал в ладоши и ждал, что фокусник снимет, наконец, свою чалму и расскажет, как это все ему удается делать. Но фокусник лишь раскланивался, а потом его сменяли медведи на велосипедах и дрессированные собачки. И я до сих пор так и не узнал секретов, какими обладают фокусники.

Некоторые считают, что книги не нуждаются в послесловиях, что писатель, пишущий предисловия или послесловия, уподобляется фокуснику, который вздумал бы объяснить зрителю секреты своего мастерства, что послесловие разрушает созданную в книге иллюзию.

Однажды в книжном магазине я услышал разговор двух школьников о моей исторической повести «За Столбами Мелькарта». Ребята, разумеется, не знали, что я — автор этой книги. Один из них сказал с сожалением:

— Эх, зачем он только написал послесловие! А я думал, что все это было — и Атлантида, и пираты...

— Это было давно и неправда,— коротко сказал другой.

Разговор этот еще более убедил меня, что к книгам надо писать послесловия. Среди юных читателей, как я понял, есть такие, которые относятся к книгам о прошлом, как к сплошному вымыслу. Другие же думают, что автор описывает все так, словно он был свидетелем событий старины, и очень удивляются, узнав, что многое в книге создано воображением.

Писатель не фокусник, не иллюзионист, хотя колдовской силой слова он может добиться не меньшего, чем самые искусные фокусники и факиры. Писатель не должен бояться выйти к читателям после того, как опустится занавес и вспыхнет электрический свет. А в определенных случаях он просто обязан это сделать, особенно если он знает, что его книга рассчитана на юных, еще неискушенных читателей, или изображает давно ушедшую и ставшую непонятной жизнь.

Мне будет грустно, если те, кто прочитает эти рассказы, отнесутся к ним только как к увеселительному чтению и не вынесут определенных познаний в истории. Но больше всего мне не хотелось бы, чтобы в этой книге вы видели подобие учебника или книги для чтения по древней истории.

Чтобы вам стало яснее, как использованы мною исторические факты для создания художественного произведения, я позволю себе остановиться на нескольких рассказах.

Действие рассказа «Белая лань» происходит в римской провинции Испании в конце 70-х годов I в. до н. э. Моей целью было не просто поведать в занимательной форме о борьбе свободолюбивых племен Испании под руководством Сертория, но и заставить вас задуматься над судьбой этого талантливого и любимого народом руководителя. Серторий погубила подозрительность, которой умело воспользовался Перперна. Предатель Перперна был осужден как иберами, так и самими же римлянами, сторонниками Сертория и его врагами. Предателя не могут спасти ни ум, ни хитрость.

Решающим в судьбе Сертория и Перперны явилось появление белой лани. Первая встреча с нею обеспечила Серторию верность иберов и этим самым подготови-

ла успех его войны против сулланцев. Вторичное появление лани, уже после убийства Сертория, уничтожило Перперну морально. Вскоре он был убит и физически врагом Сертория — Помпеем.

Что же это за белая лань? Имеет ли право автор придавать какому-то животному такое значение в судьбах исторических лиц? Но белая лань не выдумана мною. И до Сертория герой освободительной борьбы испанских племен Вириат показывается всюду с белой ланью. Серторий, зная, что для иберов белая лань была символом справедливой борьбы, а может быть, и божеством, сознательно использовал ее появление, чтобы укрепить свое влияние среди местного испанского населения. В моем рассказе белая лань также символ чистоты и верности, поэтому, в соответствии с замыслом рассказа, белой лани придано такое обобщающее значение.

Действие другого рассказа, «Гладиаторы», происходит в Помпеях, городе необычной, удивительной судьбы. Уничтоженный в 79 году извержением Везувия, он был воскрешен через восемнадцать столетий как памятник старины, и это воскрешение составляет одну из примечательнейших страниц науки археологии. Археология вернула городу тот его облик, который он имел в ночь катастрофы. Камни Помпей, отделенные от пепла и лавы Везувия, заговорили. Они нам поведали о жизни богатых рабовладельцев с ее роскошью и о жалком быте бедняков. Открыты улицы с выбоинами от колес, стены с предвыборными объявлениями, жилые дома, храмы, мастерские. Раскопана гладиаторская казарма, описанная в рассказе с возможной точностью. Весь режим казармы был рассчитан на то, чтобы лишить рабов человеческих чувств и человеческого облика, превратить их в зверей. Но люди всегда оставались людьми. Они страдали, они думали, они боролись.

Историки древности не раскрыли духовного облика гладиаторов. Только об одном из них — фракийце Спартаке — Плутарх сказал, что по величию души он напоминал не варвара, а эллина. Надписи на стенах казармы частично раскрывают нам облик гладиаторов, дают возможность понять, о чем думали гладиаторы, что их занимало. Упоминание фракийца Келада, «божества пуэлл», послужило основой для образа одного из сорат-

ников Децебала. Кто-то из гладиаторов старательно выписал на стене имя «Сенека». Так звали римского философа, выступавшего против жестокого обращения с рабами. Человек, написавший это имя, наверное, задумывался над тем, как несправедливо поступают римляне, заставляющие гладиаторов убивать друг друга.

Стены гладиаторской казармы могли бы рассказать о многом. Они могли бы поведать о возникавшей в неволе дружбе, обычно кончавшейся гибелью одного из друзей в кровопролитной схватке на арене. Эти стены видели скупые мужские слезы, роняемые украдкой, слышали голоса надежды и слова клятвы, грубую ругань надсмотрщиков, свист бичей. Обо всем этом не написано на стенах казармы. Это дополняется воображением писателя. Но вымысел в историческом рассказе — не произвольный, бурный поток мысли, влекущий нас неведомо куда, а река, направляемая руслом, имя которому — истина. Факты удерживают фантазию в берегах достоверности, в рамках возможного.

В надписях на стенах нет имени Децебала. Но нам известно, что в это время Рим вел войны с даками — предками нынешних румын. Даки показали себя храбрыми и мужественными воинами, готовыми умереть, защищая свою свободу. Надо думать, что и неволя не могла их смирить. Вымышленные герои рассказа «Гладиаторы» в то же самое время воплощение реальных, свойственных первому столетию Римской империи противоречий и направлений в идеологии угнетенных масс. Линия Децебала восходит к Спартаку, зажегшему на Везувии факел свободы. Линия Давида и Кирна является выражением покорности и смирения, проповедуемая христианством. Религиозная идеология и активная борьба за свои права взаимно исключают друг друга.

На фоне грозных событий, переживаемых Элладой, развертывается история жизни героини рассказа «Гидна». В произведении Геродота, которого потомки наградили высоким титулом «отца истории», я нашел упоминание о подвиге ныряльщика Скиллия, обрезавшего якоря персидских кораблей. В труде другого древнего автора сохранилось сообщение о дочери Скиллия — Гидне и об ее изваянии, увезенном императором Нероном из дельфийского храма. Пластический образ юной ныряль-

щицы дал всем реальным и вымышленным событиям, описываемым в рассказе, единство, которого я не находил ни в одном из описанных много раз эпизодов греко-персидской войны. Жизнь и гибель Гидны помогли мне отойти от хрестоматийного изображения героизма греков и связать повествование с мало кому известной и увлекательной историей подводного плавания.

И, может быть, еще более показателен для понимания приемов моей работы над материалом источников рассказ «Рыбак и цезарь». Он имеет два плана — чисто реальный, целиком опирающийся на источники, и художественный, развивающий один действительный эпизод. Во время пребывания императора Тиберия на острове Капри к нему пришел рыбак с великолепной рыбой, которую он решил подарить императору. Но Тиберий, видящий всюду заговоры и покушения, вместо благодарности приказал отхлестать рыбака его рыбой по щекам. Для исторического повествования не имеет значения, какую рыбу поймал рыбак. В художественном же плане эта маловажная деталь приобретает совершенно особое, символическое значение. Барвена, пойманная рыбаком, имела свойство после смерти менять окраску.

И это превращение, или, как называли древние, метаморфоза, поставленное в связь с судьбою рыбака, определило развитие сюжета второй части рассказа и решение судьбы рыбака в трагическом и героическом плане легенд о превращениях, излюбленном греческими и римскими поэтами.

Я бы мог раскрыть идею и «творческую кухню» других рассказов. Но мой разговор с вами и так уж затянулся. Мне хочется закончить его одной просьбой. На последней странице этой, а также и других книг, выпускаемых Детгизом, вы найдете обращение к читателю: «Отзывы об этой книге просим присылать по адресу...» и т. д. Немало ребячьих писем приходило ко мне и раньше, но не все из них меня удовлетворяли. Мне кажется, я в этом виноват сам. Ведь ребята не знают, о чем писать. Нравится ли книга или не нравится — это еще не материал для письма. А вот если бы вы дали разбор рассказов книги наподобие того, который я попытался сделать сам?.. Вам придется подумать над прочитанным, выделить в рассказах элементы исторической

реальности и вымысла и, может быть, объяснить художественную логику создания того или иного образа. Конечно, все это нелегко. Но кто вам сказал, что занятие историей и литературой более легкое дело, чем изучение математики или физики, биологии или химии?..

Итак, за работу, друзья! Я с большой радостью отдаю свои рассказы на ваш суд. С нетерпением я жду ваших писем, отзывов, советов, пожеланий и, если опыт моего творчества вызовет встречное желание попробовать свои силы на том же поприще, то и ваших рассказов.

*Автор*

## СОДЕРЖАНИЕ

Для средней школы

*Немировский Александр Иосифович*

БЕЛЫЕ, ГОЛУБЫЕ И СОБАКА НИКС

Исторические рассказы

*

Ответственаый редактор Г. А. Дуброаскаа.
Художественный редактор А. В. Пацина.
Технический редактор И. П. Даааловa.
Корректоры Н. М. Кожемакина и
К. П. Тагельскаа.
Сдано в набор 3/III 1966 г. Подписано к печати
8 VI 1966 г. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Печ. л. 6,06. Усл.
печ. л. 10,19. Уч.-изд. л. 10, 36+1 вкл. = 10,42
Тираж 100 000 экз. А00692. ТП 1966 № 470. Цена
41 коп. на бум. № 2 а № 3.
Издательство „Детская литература". Москва, М.
Черкасский пер., 1.
Фабрика „Детская книга" № 1 Росглавполиграф-
прома Комитета по печати пра Совете Министроа
РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ 4010.


РИМ
ОСТИЯ
АППИЕВА ДОРОГА
ВЕЗУВИЙ
СПАРТАК
ПОМПЕИ
О. КАПРИ
СИРАКУЗЫ
АРХИМЕД


ОВИДИЙ
ФРАКИЯ
ФИВЫ
АФИНЫ
СОКРАТ
СПАРТА



Цена 41 коп.